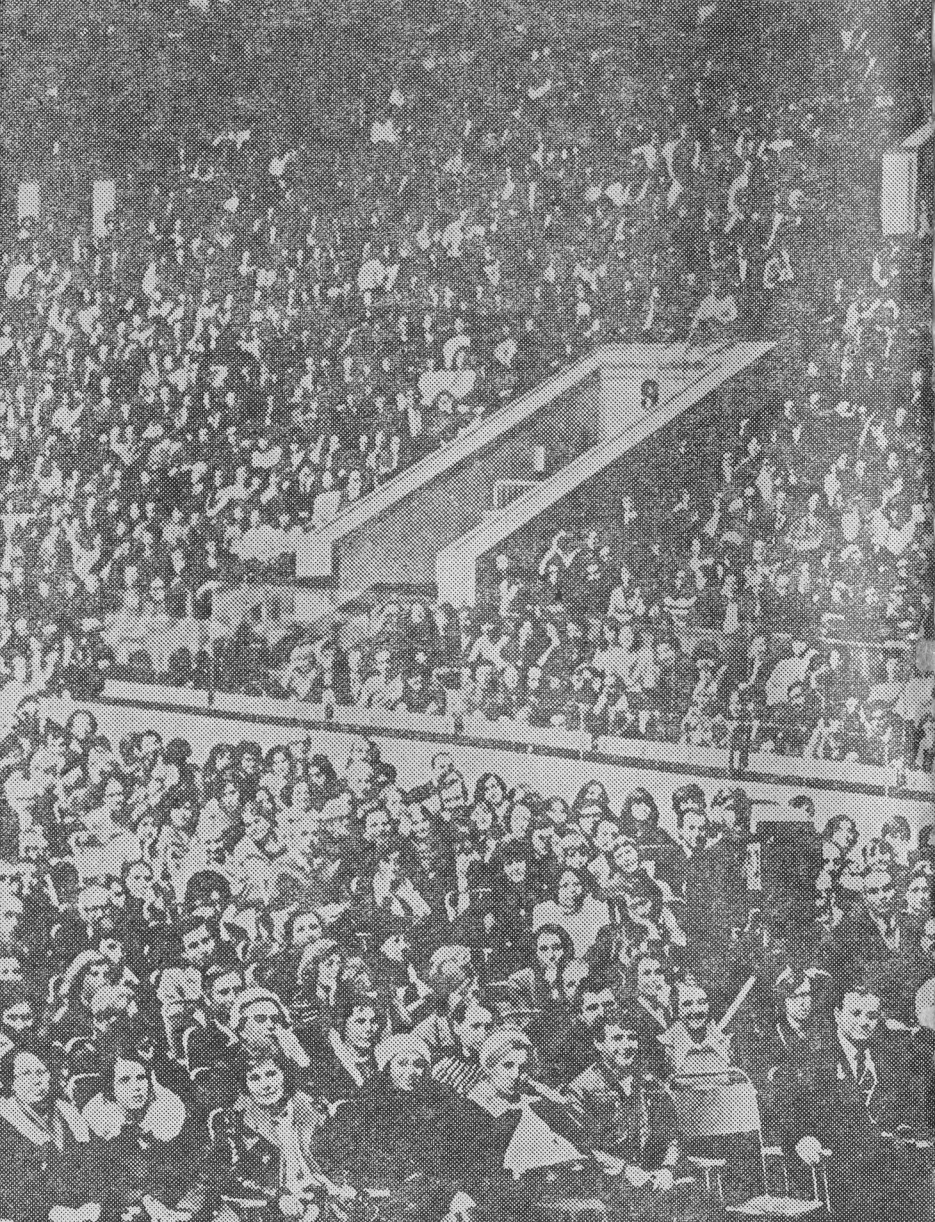


Вопрос: Возвращается ли

Безотчетное





Аурен'
Вознесение

Безотчетное

НОВАЯ КНИГА

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1981

Pawa

МОНОЛОГ XX ВЕКА

Приближается век мой к закату —
ваш, мои отрицатели, век.
На стол карты!
У вас века другого нет.

Пока думали очевидцы:
принимать его или как? —
век мой, в сущности, осуществился
и стоит как кирпич в веках.

Называйте его уродливым.
Шлите жалобы на творца.
На дворе двадцатые годы —
не с начала, так от конца.

Историческая симметрия.
Свет рассветный — закатный снег.
Человечья доля смиренная —
быть как век.

Помню, вышел сквозь лёт утиный
инженера русского сын
из ворот Золотых Владимира.
Посмотрите, что стало с ним.

Бейте века во мне пороки,
как за горести бытия
дикари дубасили бога.
Специален бог для битья.

Века Пушкина и Пуччини
мой не старше и не новей.
Согласитесь, при Кампучии —
мучительней соловей.

В схватке века с активной теменью
каков век, таков и поэт.
Любимые современники,
у вас века другого нет...

...Изучать будут век мой в школах,
пока будет земля Землей,
я не знаю, конечно, сколько,
но одно понимаю — мой.

РЕЧЬ

Смертны камень, и воздух,
и феномен человека.
Только текучий памятник
нельзя разложить и сжечь.
Не в пресловутую Лету —
впадаем, как будто в реку,—
в Речь.

Речь моя,
любовница и соплеменница,
какое у тебя протяжное
московское «а»!
Дай мне
стать единицей
твоего пространства и времени —
от Таганки
до песни,
где утонула княжна.

С этого «а»
начинается жизнь моя и тихий амок.
Мы живем в городе
под названьем Молва.

Его темное слово,
пока лирики телятся,
я сказал по разуму своему
на языке сегодняшней
русской интеллигенции,
перед тем как вечностью
стать ему.

И ни меч, ни червь
не достанут впадающих в Лету,
тех, кто смог твоим «а»,
словно яблочком,
губы обжечь.
Благодарю, что случился
твоим кратким поэтом,
моя русская Речь!

ПЕРВЫЙ АВТОБУС

К шестичасовому сподобясь,
спиной ощущая страну,
я в загородном автобусе
заутреню отстою.

Автобус дыханьем натопится,
и буду я в угол забит,
когда вся округа в автобусе,
как лошади, стоя спит.

О чем ты забылся, биндюжник,
как кариатид в уголке?
Но сон твой капелью жемчужной
остался на потолке.

На утренних лицах помятых,
как выпуклы книги слепых,
такое я понимаю,
как будто я сам их слепил.

Спи, рыжая, ахнув на рытвинах.
Чей муж тебе снится в пути?
Старуха с глазами открытыми,
еще полчаса тебе, спи.

Что снится торгашке спрессованной,
вздохнувшей, как кодекс почти:
«Имейте, товарищи, совесть!»
Спи...

Навеки уже не расстаться
с объявшею жизнью земной,
когда не осталось пространства
меж жизнью чужою и мной.

В тумане буханкою хлеба
автобус ползет, как слепец.
Ломтями пшеничного света
свет окон ложится на лес.

Не видел я спящих царевен,
висящих в хрустальном лесу,
но видел, как спит современница
в автобусе на весу.

Подняв кулачок, как девчонка
с картины Делакруа,
сжав поручень над проходом,
спокойно и гневно спала.

Виденья вчерашних загулов
твои утомляли черты.
О чем ты над нами вздохнула?
И большее что-то, чем ты...

Как поднятый лебедь за шею,
на белой ручонке висишь.
И я объяснить не сумею,
какая великая тишь,

какое волнение настало,
похожее на обряд,
когда, чтобы ты не упала,
прижав тебя, жизни стоят.

Не видел я, как ты вышла.
Наверно, проспала, летя.
И вытащил кто-то сквозь крышу
за белую руку тебя.

А тот, кто не встал пред тобою
и места не уступил,
лишился не только свободы —
спасенье души упустил.

БЕЗОТЧЕТНОЕ

Изменяйте дьяволу, изменяйте черту,
но не изменяйте чувству безотчетному!

Есть в душе у каждого, не всегда отчетливо,
тайное отечество безотчетное.

Женщина замешана в нем темноочевая,
ты — мое отечество безотчетное!

Гуси ль быстротечные вытянут отточие
это безотчетное, это безотчетное,

осень ли настояна на лесной рябине,
женщины ль постукают четками грибными,

иль перо обронит птица неученая —
как письмо в отечество безотчетное...

Шинами обуетесь, мантией почетною —
только не обучитесь безотчетному.

Без него вы маетесь, точно безотцовщина,
значит, начинается безотчетное.

Это безотчетное, безотчетное
над небесной пропастью

вам пройти нашептывает...

Когда черти с хохотом

вас подвесят за ноги,

«Что еще вам хочется?» — спросят вас под занавес.

— Дайте света белого,

дайте хлеба черного

и еще отечество безотчетное!

* * *

Был бы я крестным ходом,
я от каждого храма
по городу ежегодно
нес бы пустую раму.

И вызывали б слезы
и попадали б в раму
то святая береза,
то реки панорама.

Вбежала бы в позолоту
женщина, со свиданья
опаздывающая на работу,
не знающая, что святая.

Левая сторона улицы
видела б святую правую.
А та, в золотой оправе,
глядя на нее, плакала бы.

НЕДОПИСАННАЯ КРАСАВИЦА

Ф. Абрамову

Где холсты незабудкой отбеливают,
в клубе северного села
дочь шофера записку об Элиоте
подала.

Бровки, выгоревшие, белые,
на задумавшемся лице
были словно намечены мелом
на задуманном кем-то холсте.

Но глаза уже были — Те.

Те глаза — написаны сильно
на холщовом твоём лице —
смесь небесного и трясины —
говорили о красоте.

Недописанная красавица!
Будто кто-то, начав черты,
испугался, чего касается,
и бежал твоей красоты.

В тебе что-то от нашей жизни
с непрописанною судьбой,
что нуждается в некой кисти,
чтоб себя осознать самой.

Телевизорная провинция!
Ты себя еще не нашла.
И какая в тебе предвидится
непроснувшаяся душа?

Телевизорная провинция,
чьи бревенчатые шатры
нынче сумерничают с да Винчи,
загадала твои черты.

С шеи свитер свисал как обод,
снятый с местного силача.
И на швах готовые лопнуть
джинсы — тоже с чужого плеча.

В жизни что-то происходило!
Темноликие земляки.
Но ресницы их белыми были —
словно будущего штрихи.

И стояла моя провинция,
подпирающая косяк,
и стояла в ней боль пронзительная —
вдруг пропишется, да не так...

Время в стойлах мычало, бляело.
Рождество намечалось в них.
И тревожился не об Элиоте
очарованный черновик.

Двадцать первого века подросток
мучил женщину наших дней.
Вся — набросок!
Жизнь, пошли художника ей.

НЕВЕЗУХА

Друг мой, настала пора невезения,
глядь, невезуха,
за занавесками бумазейными —
глухо.

Были бы битвы, злобные гении,
был бы Везувий —
нет, вазелинное невезение,
шваль, невезуха.

На стадионах губит горячка,
губят фальстарты —
не ожидать же год на карачках,
сам себе статуя.

Видно, эпоха черного юмора,
серого эха.
Не обижаюсь. И не подумаю.
Дохну от смеха.

Ходит по дому мое невезение,
в патлах, по стенке.
Ну полетала бы, что ли, на венике,
вытращив зенки!

Кто же обидел тебя, невезение,
что ты из смирной,
бросив людские углы и семейные,
стала всемирной?

Что за такая в сердце разруха,
мстящая людям?
Я не покину тебя, невезуха.
В людях побудем.

Вдруг я увижу, как ты красива!
Как ты взглянула,
косу завязывая резинкой
вместо микстуры...

Как хорошо среди благополучных!
Только там тесно.
Как хороши у людей невезучих
тихие песни!

СВЕТ ДРУГА

Я друга жду. Ворота отворил,
зажег фонарь над скосами перил.

Я друга жду. Глухая сторона.
Жизнь ожиданием озарена.

Он жмет по окружной, как на пожар,
как я в его невзгоды приезжал.

Приедет. Над сараями сосна
заранее озарена.

Бежит, фосфоресцируя, кобель.
Ты друг? Но у тебя — своих скорбей...

Чужие фары сгрудят темноту —
я друга жду.

Сказал — приедет после девяти.
По всей округе смотрят детектив.

Зайдет вражда. Я выгоню вражду —
я друга жду.

Проходят годы — Германа все нет.
Из всей природы вырубают свет.

Увидимся в раю или в аду.
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!

Сказал — приедет после девяти.
Судьба, береги его в пути.

ВЫСТАВКА «МОСКВА — ПАРИЖ»

Москва минус Париж? Пойдите отнимите!
Париж минус Москва?
Пикассо с Родченкой курил на динамите.
И от Москвы в Москве кружится голова.

Как я люблю Москву Лентулова пернатого!
Трепещет, как крыло, из перышков мазка.
Восьмидесятые минус двадцатые?
Москва минус Москва?

Не вычешь из тебя, Москва, болотным
квakanьем
года твоих голгоф, прозрений, голодух.
Над любопытными дохнул великий вакуум
и коммунальных аввакумов дух.

За этот дух расплачиваясь шкурой,
интеллигент из благостных крестьян
западноевропейскую культуру
брал на лету, как алую Дункан.

В истории нельзя забыть ни доли сотой.
Комбинезончик твой — осиная модель.
Настояны судьбой филоновские соты.
Как Хлебников помолодел!

Спасибо. Не прощаюсь. Пожелаю
занять места на выставках, в музеях и мозгах.
В Коровине, московском парижанине,
импрессионизирует Москва!..

Кому-то это минус или примесь.
Подброшен как мишень бубновый черный туз.
Фломастером вооружусь.
Я на афише переправлю минус
на плюс.

СОБАКА

Р. Паулсу

Каждый вечер въезжала машина,
тормозила у гаража.
Под колеса бросалась псина,
от восторга визжа.

И мужчина, источник света,
пах бензином и лаской рук.
И машина — друг человека,
и собака, конечно, друг.

Как любила она машину!
Как сияли твои глаза!
Как твою золотую спину
озаряло у гаража!

Но вторую уже неделю
не въезжает во двор мотор.
Лишь собачьи глаза глядели,
изнывая, через забор.

Свет знакомый по трассе неся.
И собака что было сил
с визгом бросилась под колеса,
но шофер не притормозил.

ТРУБАДУРЫ И БЮРГЕРЫ

Пусть наше дело давно труба,
пускай прошли вы по нашим трупам,
пускай вы живы, нас истребя,
вы были — трупы, мы были — трубы!

Средь исторической немоты
какой божественною остудой
в нас прорыдала труба Судьбы!
Вы были — трусы, мы были — трубы.

Вы стены строили от нас затем,
что ваши женщины от нас в отрубе,
но проходили мы сквозь толщу стен,
на то и трубы!

Пока будили мы тишину,
подкрались нежные душегубы,
мы лишь успели стряхнуть слюну...
Живые трупы. Мертвые трубы.

Мы трубадуры от слова «дуры».
Вы были правы, нас растоптавши.
Вы заселили все курватыры¹.
Пространство — ваше. Но время — наше.

¹ Термин старинной архитектуры.

**Разве признаетесь вы себе
в звуконепроницаемых срубях,
что вы завидуете трубе?
Живите, трупы. Зовите, трубы!**

Прованс, 1981

МУЛАТКА

Рыдайте, кабацкие скрипки и арфы,
над черною астрой с прическою «афро»,
что в баре уснула, повиснув на друге,
и стало ей плохо на все его брюки.

Он нес ее, спящую, в туалеты.
Он думал: «Нет твари отравнее этой!»
На кафеле корчилось и темнело
налитое сном виноградное тело.

«О, освободись!.. Я стою на коленях,
целую плечо твое в мокром батисте.
Отдай мне свое естество откровенно,
освободись же, освободись же

от яви, что мутит, от тайны, что мучит,
от музыки, рвущейся сверху бесстыже,
от жизни, промчавшейся и неминуемой,
освободись же, освободись же,

освободись, непробудная женщина,
тебя омываю, как детство и роды,
ты, может, единственное естественное —
поступок свободы и воды заботы,

в колечках прически вода западает,
как в черных оправках напрасные линзы,
подарок мой лишний, напрасный подарок,
освободись же, освободись же,

освободи мои годы от скверны,
что пострашней, чем животная жижа,
в клоаке подземной, спящей царевной,
освободи же, освободи же...»

Несло разговорами пошлыми с лестницы.
И не было тела светлей и роднее,
чем эта под кран наклоненная шея
с прилипшим мерцающим полумесяцем.

ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА

Лягу навзничь — или это нервы?
От земного сильного огня
тьень моя, отброшенная в небо,
наклонившись, смотрит на меня.

Молодая черная береза!
Видно, в Новой Англии росла.
И ее излюбленная поза —
наклоняться и глядеть в глаза.

Холмам Нового Ерусалима
холмы Новой Англии близки.
Белыми церковками над ними
память завязала узелки.

В черную березовую рощу
заходил я ровно год назад
и с одной, отбившейся от прочих,
говорил — и вот вам результат.

Что сказал? «Небесная бесовка,
вам привет от северных сестер...»
Но она спокойно и бессонно,
не ответив, надо мной растет.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Не называйте его бардом.
Он был поэтом по природе.
Меньшого потеряли брата —
всемирного Володю.

Остались улицы Высоцкого,
осталось племя в «леви-страус»,
от Черного и до Охотского
страна неспетая осталась.

Вокруг тебя за свежим дерном
растет толпа вечноживая.
Ты так хотел, чтоб не актером —
чтобы поэтом называли.

Правее входа на Ваганьково
могила вырыта вакантная.
Покрыла Гамлета таганского
землей есенинской лопата.

Дождь тушит свечи восковые...
Все, что осталось от Высоцкого,
магнитофонной расфасовкою
уносят, как бинты живые.

Ты жил, играл и пел с усмешкою,
любовь российская и рана.
Ты в черной рамке не уместисься.
Тесны тебе людские рамки.

С какой душевной перегрузкой
ты пел Хлопушу и Шекспира —
ты говорил о нашем, русском,
так, что щемило и щепило!

Писцы останутся писцами
в бумагах тленных и мелованных.
Певцы останутся певцами
в народном вздохе миллионном...

* * *

Наверно, ты скоро забудешь,
что жил на краткой земле.
Историю не разбудит
оборванный крик шансонье.

Несут тебе свечки по хляби.
И дождик их тушит, стуча,
на каждую свечку — по капле,
на каждую каплю — свеча.

УСТЬЕ

1

Где я последние дни ни присутствую,
по захолюстьям жизни забитой —
будто находишься в устье предчувствий,
переходящем в море событий.

Все, что оплакал, сбывается бедственно.
Ночью привидится с другом разлука.
Чувство имеет обратное действие.
Утром приедешь — нет его, друга.

Утро приходит за кукареканьем.
О не летайте тем самолетом!
Будто сначала пишется реквием,
а уж потом все идет как по нотам.

Все мои споры ложатся на решку.
Думать опасно.
Только подумаю, что ты порежешься,—
боже! — вбежала с порезанным пальцем.

Ладно, когда б это было предвиденьем.
Самая мысль вызывает крушенье.
Только не думайте перед вылетом!
Не сомневайтесь в друге душевном!

Не сомневайтесь, не сомневайтесь
в самой последней собаке на свете.
Чувством верните ее из невнятиц —
чтоб не увидеть ногтей синеватых —
верьте...

2

Шел я вдоль русла какой-то речушки,
грустью гонимый. Когда же очухался,
время стемнело. Слышались листья:
«Мы — мысли!»
Пар подымался с притоков речушки:
«Мы — чувства!»

Я заблудился, что было прискорбно.
Степь начиналась. Идти стало трудно.
Суслик выглядывал перископом
силы подземной и непробудной.

Вышел я к морю. И было то море —
как повторенье гравюры забытой —
фантазмагория на любителя! —
волны людей были гроздьями горя,
в хоре утопших, утопий и мора
город порхал электрической молью,
трупы истории, как от слабительного,
смыло простором любви и укора.
Море моею питалось рекою.
Чувство предшествовало событию.

Круглое море на реку надето,
будто на ствол крона шумного лета,
или на руку боксера перчатка,
или на флейту Моцарт печальный,
или на душу тела личина —
чувство являлось первопричиной.

«Друг, мы находимся в устье с тобою,
в устье предчувствий —
там, где речная сольется с мирскою,
выпей из устья!
Видишь, монетки в небе мигают.
Звезды зовутся.
Эти монетки бросил Гагарин,
чтобы обратно в небо вернуться...»

Что это было? Мираж над пучиной?
Или замкнулся с душой мировую?
Что за собачья эта кручина —
чувать, вернее, являться причиной?..
И окружающим мука со мною.

* * *

Ты живешь до конца откровенно.
И от наших запутанных дней
два стежка проступили над веной,
слава богу, над ней.

И чем больше рука загорает
и откинется в счастье рука,
все яснее на ней проступают
два спокойных и скользких шнурка.

РАЗМОЛВКА

Это ни на что не похоже!
Ты топчешь сапожками пальто.
Ты не похожа на бешеную кошку.
Ты не похожа ни на что.

Твоя нежность не похожа на нежность.
Ты швыряешь чашки на пол, на стол.
Ты не похожа на безрукую Венеру.
Ты не похожа ни на что!

За это без укоризны,
и несмотря на то,
зову тебя своей жизнью.
Все не похоже ни на что.

Брат не похож на брата,
боль не похожа на боль.
Час отличается от часа.
Он отличается тобой.

Море ни на что не похоже.
Дождь не похож на решето.
Ты все продолжаешь? Боже!
Ты не похожа ни на что.

Ни на что не похожа тишина свободы.
Вода не похожа на горячую кожу щек.
Полотенце не похоже
на стекающую
со щек воду.
И совсем не похож на неволю
накинутый на дверь крючок.

ИМЕНА

Да какой же ты русский,
раз не любишь стихи?!
Тебе люди — гнилушки,
а они — светляки.

Да какой же ты узкий,
если сердцем не брат
каждой песне нерусской,
где глаголы болят...

Неужели с пеленок
не бывал ты влюблен
в родословный рифмовник
отчеств после имен?

Словно вздох миллионный
повенчал имена:
Марья Илларионовна,
Злата Юрьевна.

Ты, робея, окликнешь
из имен времена,
словно вызовешь Китеж
из глубин Ильмена.

Словно горе с надеждой
позовет из окна
колокольню-нездешне:
Ольга Игоревна.

Эти святцы-поэмы
вслух слагала родня,
словно жемчуг семейный
завещав в имена.

Что за музыка стона
отразила судьбу
и семью и историю
вывозить на горбу?

Словно в анестезии
от хрустального сна
имя — Анастасия
Алексеевна...

КРИТИКУ

**Не верю я в твое
чувство к родному дому.
Нельзя любить свое
из ненависти к чужому.**

★ ★ ★

Когда я слышу визг ваш шкурный,
я понимаю, как я прав.
Несуществующие в литературе
нас учат жить на свой устав.

Меж молотом и наковальной
опять сутулюсь на весу.
Опять подковой окаянной
кому-то счастье принесу.

Бледнея под загаром,
ты выйдешь из каскадов.
Потом кому-то скажешь, вернувшись в города:
«Кого любила? Море...»
И все ему расскажешь.
За время поцелуя
отрастает борода.

БЕРЕЗА

Опять за сердце хватанула
берез разрозненных толпа —
протяжные клавиатуры,
поставленные на попа.

Как будто отклеился клавиш,
отставши, береста дрожит.
И все, что в жизни не поправишь,
в ней прорывается навзрыд.

Ты помнишь эти вертикали?
Изнанка медная гриба
с названьем «заячья губа»
прозеленела, как педали.

Как всенародно одинока
судьба избранниц областных,
перо сороки на дорогу
опять, как клавиш, обронив!

Одна из них была редчайшей,
непостижимая опять.
Наверно, надо быть летящим,
чтоб снизу вверх на ней сыграть.

Когда до неба трепет тайный
по ее телу пробежал —
к ней ангелом горизонтальным
полночный Рихтер прилетал.

P. S.

Ее за это, зыркнув косо,
на землю свалит дровосек.
В Консерватории на козлах
она кричит как человек.

То, что для нас — аппаратура,
ей — как пила и топоры.
Ты пальцы бы ополоснула
после игры, после игры...

* * *

Зашторены закаты,
а может, день за кадром,
иное время мира?
За что ты мне такая,
с бескрайними ногами —
отсюда до Таймыра?

Наполнены стаканы,
осушены стаканы
и подняты стаканы.
За что? За наши тайны.
За то, что загадали.
За что ты мне такая?

За что я потакаю
твоим дурацким выходкам?
Тебя бы батогамы...
На людях — таратайка,
а рядом — тише выдоха,
за что ты мне такая?

Чуть проступают позвонки,
как снегом скрытая дорога.
Не «напиши», не «позвони» —
побудь такую, ради бога...

Когда с тобою говорим,
во рту — как мятная истома.
Я — гений, если я достоин
назвать тебя и быть твоим.

СОСНЫ

**Я обожаю воздух сосновый!
Сентиментальности — от лукавого.
Вдохните разлуку в себя до озноба,
до иглоукальвания, до иглоукальвания...**

**Вденьте по ветке в каждую иголку,
в каждую ветку вденьте по дереву,
в каждое дерево родину вденьте —
и вы поймете, почему так колко.**

Создатель

Над батареею отопленья
крутился Чайковский, трактуемый Геной
Рождественским. Шар умолял его в небо
выпустить. В небе гроза набрякла.
Туча пахла, как мешок с яблоками.

Это уже ощущалось всеми:
будто проветривали помещенье —
мысль, что предшествовала творенью,
страсть, что предшествовала творенью,
тоска, предшествующая творенью,
шатала строения и деревья!

Мысль в виде женщины в кресле сидела.
Была улыбка — не было тела.
Мысль о собаке лизала колени.
Мыслью о море стояла аллея.
Мысль о стремянке, волнуя, белела —
в ней перекладина, что отсутствовала,
мыслью о ребре присутствовала.

Съезжалось общество потребления.
Мысль о яблоке катилась с тарелки.
Мысль о тебе стояла на тумбочке.
«Как он любил ее!» — я подумал.
«Да» — ответила из передней
недоуменная тьма творенья.

Вот предыстория их отношений.
Вышла студенткой. Лет было мало.
Гения возраст — в том, что он гений.
Верила, стало быть, понимала.
Как он ревнует ее, отошедши!

Попробуйте душ принять в его ванной —
душ принимает его очертанья.
Роман их длится не для посторонних.

Переворачивался двусторонний
Чайковский. В мелодии были стоны
антоновских яблонь. Как мысль о создателе,
осень стояла. Дом конопатили.
Шар об известку терся щекою.
Мысль обо мне заводила Чайковского,
по старой памяти, над парниками.
Он ставил его в шестьдесят четвертом.
Гости в это не проникали.

«Все оправдалось, мэтр полуголый,
что вы сулили мне в стенах шершавых
гневным затмением лысого шара,
локтями черными треугольников».

Море сомнительное манило.
Сохла сомнительная малина.
Только одно не имело сомненья —
мысль о бессмысленности творенья.
Цвела на террасе мысль о терновнике.
Благодарю вас, мэтр модерновый!
Что же есть я? Оговорка мысли?
Грифель, который тряпкою смыли?
Я не просил, чтоб меня творили!
Но заглушал мою говорильню
смысл совершаемого творенья —
ссылка на Бога была б трафаретной —
Материя. Сад. Чайковский, наверное.

Яблоки падали. Плакали лабухи.
Яблок было — греби лопатой!
Я на коленях брал эти яблоки
яблокопада, яблокопада.
Я сбросил рубаху. По голым лопаткам
дубасили, как кулаки прохладные.
Я хохотал под яблокопадом.
Не было яблонь — яблоки падали.
Связал рукавами рубаху казнимую.
Набил плодами ее, как корзину.
Была тяжела, шевелилась, пахла.
Я ахнул —
сидела женщина в мужской рубахе.

Тебя я создал из падших яблок,
из праха — великую, беспризорную!
Под правым белком, косящим набок,
прилипла родинка темным зернышком.
Был я соавтором сотворенья.
Из снежных яблок так во дворе мы
бабу слепляем. Так на коленях
любимых лепим. Хозяйке дома
тебя представил я гостьей якобы.
Ты всем гостям раздавала яблоки.
И изъяснялась по-черноземному.

Стояла яблонная спасительница,
моя стеснительная сенсация.
Среди диванов глаза просили:
«Сенца́ бы!»
Откуда знать тебе, улыбавшейся,
в рубашке, словно в коротком платице,
что, забывшись, влюбишься, сбросишь рубашку
и как шары по земле раскатишься!..

Над автобусной остановкой
туча пахла, как мешок с антоновкой.
Шар улетал. В мире было ветрено.
Прощай, нечаянное творенье!

Вы ночевали ли в даче создателя,
на одиночестве колких дерюжищ?
И проносилось в вашем сознании:
«Благодарю за то, что даруешь».
Благодарю тебя, автор творенья,
что я случился частью твоею,
моря и суши, сада в Тарусе,
благодарю за то, что даруешь,

что я не прожил мышкой-норушкой,
что не двурушничал с тобой, время,
даже когда ты мне даришь кукиш,
и за удары остервенелые,
даже за то, что дошел до ручки,
даже за это стихотворенье,
даже за то, что завтра задуешь —
благодарю тебя, что даруешь
краткими яблоками коленей!
За гениальность твоих натурщиц,
за безымянность твоей идеи...
И повторяли уже в сновиденьи:
«Боготворю за то, что даруешь».

В мир открывались ворота ночные.
Вы уезжали. Собаки выли.
Не посещайте художника после кончины,
а навещайте, пока вы живы.

Мысль,
что и предшествовала
творенью

ПОСВЯЩЕНИЕ

В мою Белую книгу внесены вымирающие породы,
безрассудства черты,
что уходят навек, но сначала на годы,
что таить, это — Ты.

Как Тебя сохранить от моей же надруги?
Ты не белка, не стриж —
но сливаются с ночью Твои загорелые шея и руки,
когда Ты в безрукавке своей белой стоишь.

Не стреляйте взмахнувшую Белую книгу!
Мои темные книги сама Ты сожжешь.
Безрассудку мою, безголовую белую Нику,
не давайте под нож!

САЙГАК

В. Орлову

Ему хотелось воли и заката.
Его машиной гнали, как скоты.
По загнанному профилю сайгака
увидел я прекрасные черты.

Лежал поэт, как страшная загадка,
столетье от которой не уйдешь.
По загнанному профилю сайгака
прошла любви и отвращенья дрожь.

Не поминайте его имя все.
Меж ваших зачумленных жемчугов
бензин я чую, вижу смерть пустую,
и бег, и горизонт без берегов.

АФИНОГЕНОВСКИЕ КЛЕНЫ

Вымахали офигенные
клёны афиногеновские!
Карей американкой
в Россию завезены.
Лист припадет кофейный,
словно щека мгновенная,—
будто магнитом тянет
Америка
из-под земли.

Клёны — они как люди
с мыслящею генетикой.
Сгорела американка
в каюте после войны.
Клёны афиногеновские —
потомственная интеллигенция,
поскольку интеллигенцией
усыновлены.

Они шелестят по-нашему
обрусевшими кронами.
Они обрамляют пашню,
бетонку и штабеля.

Крашенная церковь
времен Иоанна Грозного
поет на ветке,
красивая,
размером со снегиря.

Если выходят нервы
из-под повиновения
или строкой повеяло —
подыми
воротник,
войди от поворота
в клены афиногеновские,
и под уклон дорога
выведет на родник.

Мой кабинет кленовый,
тайна афиногеновская,
где откровенны
поле,
небо —
и что еще?
Христосуются,
позавтракав,
сварщики автогенные,
лист им благоговейно
спланирует
на плечо.

В западном полушарии
роща растет, наверное.
Кронищи родословные
тягую изошли.

Листья к земле припадают,
словно щека мгновенная —
будто их к детям тянет
Россия
из-под земли.

* * *

Этот плоский отель
поперек побережья и лета —
будто чья-то невидимая рука
задержала
над магнитофоном
кассету,
но какой стороной —
не решила пока.

Я не знаю,
что будет с тобой и со мною,
не знаю,
и какую все это
пойдет стороной?..
Коридорной дорожкой
ступня записалась
босая.
Ее утром сотрет
старомодный
прибой.

Я живу через стенку
с непробудным спортсменом.
Ты, как музыка,
женщина,
через стенку пройдешь.

Ты с собою увозишь
отеля протяжную тему.
Он,
чем больше отходишь,
тем больше с кассетою
схож.

«Главное в мужчине —
инициатива».

Не пугаясь риска,
ты пустырть отторгнул
под парник опрятный —
чтобы брать редиску
не в Ювелирторге
по цене брильянтов.

Нету с неба манны.
Высшая гуманность —
накормить прибывших.
Инициативы!
С лучшими умами
думаешь о ближних.

Не попасть в Плехановский.
Мучатся идеей
молодые гномики
экономики.
Зажигают свечи
перед индейкой
метрдетели, черные
как каноники.

Кто ты?
Демон в стеклышках?
Общих благ гарантия?
Жлоб ли с новым опытом?
Что-то распахнется
новое в характере?
Характеру хлопотно.

Молодой хозяин
огромного дома,
пробежим по гоголевскому снежку.
Ты — пока что рукопись
для 2-го тома.
Если не получишься,
я тебя сожгу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗНАКОМСТВЕ

«Блондинка, рост 172 см, стройная, образование — высшее. Желает познакомиться с женщиной...» «Хочу познакомиться с хорошим человеком до 55 лет для совместной жизни...»

(Из вечерней газеты «Голос Риги» 28 августа 1980 г.)

«Блондинка, стройная,
172-сантиметровая,
что любит кулинарию и книги» —
опубликована,
как ордер просмотровый,
в «Вечерней Риге».

Мне это имя, кажется, знакомо...
Нога балетная. Улыбка бабьелетняя.
Под шкаф скакнула
незабвенная заколка...
По объявлению! по объявлению!

Кругом двухкомнатные женщины петитом.
Спрос на мужчин от 40 и до 50-ти.

У МОРЯ

Ты вышла на берег и села со мною,
спиною шурша.
Когда ж на плечах твоих высохло море,
из моря ты вышла — и в море ушла.

С тобой я проплыл, проводив до предела,
как встарь — до угла.
Примеривши море на длинное тело,
из моря ты вышла — и в море ушла.

Я помню, как после купания долгого
в опавших подушечках пальцы твои
опять расправлялись упругими дольками,
от солнца наполнившись и любви...

Тебя потеряли дозорные вышки.
Вода погремушкой застряла в ушах.
Ко мне обернулись зеленые вспышки —
из моря ты вышла — и в море ушла.

* * *

Погадай, возьми меня за руку,
а взяла — не надо гадать...
Все равно — престол или каторга —
ты одна моя благодать!
Бог — с тобой, ты — создание бога.
И, пускай он давно не со мной,
нарисована мне дорога
по ладони твоей золотой.
Ты одна на роду написана.
Но читать подождем.
А отклонится линия жизни —
я ее подправлю ножом.

ГРУЗИНСКИЕ ХРАМЫ

На что похожа заточимая
во Мцхете острая душа?
На карандашную точилку
для божьего карандаша.

Те наконечники-верхушки
вздвигались, головы кружа.
И реки уносили стружки
нездешнего карандаша.

Не тот ли карандаш всевышний
чертой отметил дорогой
след самолета, ветку вишни
и рукописный городок?

Какою любящею линией
очерчен поднебесный сад,
где ночью распускалась лилия —
как в стойке делала шпагат?

На радость это или гибель?
Бог это или Пастернак?
Но краска стертая и грифель
внутри остались на стенах.

И мне от Грузии не надо
иных наград, чем эта блажь,—
чтоб заточала с небом рядом
и заточила карандаш.

НЕ СКАЖИ

Под утро ты придешь назад
в обиженные стеллажи.
Зачем ты, человек, скажи?
Скажи, что нечего сказать!

Попавший человек в грозу
и жизни божью благодать,
что в оправданье я скажу?
Скажу, что нечего сказать.

Как объяснюсь в ответ стрижу,
горе, кормящей двух козлят?
На языке каком скажу?
Скажу, что нечего сказать.

Как предавался мятежу,
что обречен на неуспех?
Как предавался монтажу
слов, что и молвить не успел?

Вот поброжу по бережку
и стану ветерком опять.
Что человеку я скажу?
Скажу, что нечего сказать.

**Вот только взглядом провожу
твою безоблачную прядь.
Что на прощание скажу?
Скажу, что нечего сказать.**

ИНФОРМАЦИЯ

- Вы читали? — задавили Челентано!
- Вы читали, на эстраде шарлатаны?
- Вы читали, в президенты кого выбрали?
- Не иначе, это Джуна. Чую фибрами.
- В одной барышне во время медосмотра обнаружили Людовика Четвертого!
Начиталась. Наглotalась эпохально...
- Вы читали? — биополе распахали.
- Если хочется вам криночку коровьего, о нем можно прочитать у Григоровича.
- Мы до дырок Окуджаву зачитали.
- Вы видали? Шел потертый... Мы в печали.
- Вы считали, с кем жила Анна Андревна?
- А с кем не жил Александр Блок, считали?
- Вы считаете Москву большой деревней?
- Нет. Но я люблю ее, избу-читальню.

ДАР

Глядите в лапу клиенту нищему,
взымая плату —
глядите лучше пианисту
в пустую лапу!

Не стоят мебельные составы
и все квартиры
просторной небыли, что та пустая
рука схватила.

Из рукава он раскинет клавиши,
как карт колоды,
и вам, рабам «Жигулей» и кладбищ,
дает свободу.

Тебе не видно, наивный взяточник,
как этот лабух
сжимает музыку — бульжник завтрашний,—
пригнувшись, в лапах.

Дайте без очереди ему квартиру!
Пустые звуки,
паря на ощупь, владеют миром
пустые руки.

* * *

Будто дверью ошибся,
пахнет розой и «Шипкой»,
будто жизнью ошибся во тьме —
будто ты получил свиданье,
предназначенное не тебе.

Ни за что — это время
и репей на коленке,
вниз сбегаящей по тропе,—
удивленное благодаренье,
предназначенное не тебе.

Благодать без понятия
или камня проклятье,
промахнувшееся в слепоте?
Задушили тебя в объятьях,
предназначенных не тебе.

Эти залы с цветами,
вся Россия за вами,
и разбитая песнь на губе —
заповеднейшее свиданье,
предназначенное не тебе.

Отпираться наивно.
Есть, наверное, лифты,
чтоб не лезть на балкон по трубе.
Прости, господи, за молитвы,
предназначенные не тебе.

ПРОВОДНИЦА

Ты служишь проводницей в поезде,
разносишь чай или буфет.
На платье темное — от пояса
передник беленький надет.

И в этом стираном переднике —
как будто церковь из воды —
есть отражение неведомой
и затонувшей чистоты.

Судьба тебя несет по свету
меж пьяных и ночных забот.
Давно, что отражалось, нету.
Но отражение живет.

Когда-нибудь проезжий деятель
Покров увидит на Нерли.
Поймет, чему он был свидетель...
Тебя составы унесли.

ВОЗДУШНЫЕ ЛЫЖИ

Я водные лыжи почти ненавижу,
Когда надеваю воздушные лыжи.

Полжизни вложил я в воздушные лыжи,
Полнеба за трос вырывая двужильно.
Мои провозвестники кончили грыжей,
Воздушные лыжи со мною дружили.

Ты плаваешь слабо, мой гибкий товарищ,
Ты воздух хватаешь как водная лилия.
На водные доски тебя не поставишь.
Я ставлю тебя на воздушные лыжи.

Не ешь до звезды. И питайся любовью,
Сдирая лодыжки о воздух и крыши.
Семья тебя кроет спириткой бесстыжей
За то, что познала воздушные лыжи.

Пойми, что энергия — та же материя.
Ладощка твоя щурит свет Моны Лизы.
Но только одна не катайся. Смертельно!
Когда я уснул, ты взяла мои лыжи.

Я видел тебя над Парижем и Вяткой.
Прощай! Я живую тебя не увижу.
Лишь всплыли на небе пустом необъятно,
Как стрелки часов, две скрещенные лыжи.

Мое преступленье ужасно. Я спятил.
Ты же —
Жива. И по небу катаешь на пятке.
Зачем ты сломала воздушные лыжи?

* * *

Я шел асфальтом. Серый день.
Сегодня не было теней.
Но предо мной ложилась тень,
от жизни брошена моей.

Я оглянулся. Никого.
Но тень была. Верней всего,
твой ответ, в памяти живой,
шел, как с фонариком, за мной.

Тайна исповеди

ИРОНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Во время информационного взрыва,
если вы живы —
что редко —
накрывайтесь «Вечеркой» или районным
«Призывом»
и не думайте о тарелках.

Во время информационного взрыва
нет пива,
есть очередь за чтивом.
Мозги от черного детектива
усыхают как черносливы.

Контуженные информационным взрывом,
мужчины становятся игривы и вольнолюбивы,
суждены им благие порывы,
но
свершить ничего не дано,
они играют в подъездах трио,
уходят в домино
или кассетное кино.

Сфинкс, реши-ка наши кроссворды!
Человечество утроилось.
Информированные красотки
перешли на запоминающее устройство.

Музыкальные браконьеры
преодолевают звуковые барьеры.

Многие трупы
записываются в тургруппы.

Информационные графоманы
пишут, что диверсант Румянов,
имя скрыв,
в разных городах путем обманов
подготавливает демографический взрыв.

Симптомы:
тяга к ведьмам, спиритам и спиритному.

Выделяется колоссальная духовная энергия.
Вызывают дух отца Сергия.
Над Онегою
ведьмы в очереди зубоскалят —
почему женщин не берут на «Скайлэб»?

Астронавт №№ к полету готов,
и готов к полету спирит Петров.

Как прекрасно лететь над полем
в инфракрасном плаще с подбоем!

Вызывает следователь МУРа
дух бухгалтера убиенного.
Тот после допроса хмуро
возвращается в огненную геенну.

Над трудящимися Севера
писательница, тепло встреченная,

тарахтит как пустая сеялка
разумного, доброго, вечного.

Умирает век — выделяется его биополе.
Умирает материя — выделяется дух.
Над людьми проступают идея и воля.
Лебединою песней летит тополиный пух.

Я, один из преступных прародителей
информационного взрыва,
вызвавший его на себя,
погибший от правды его и кривды,
думаю останками лба:

Мы сами сажали познания яблони,
кощунственные неомичурины.
Нам хотелось правды от бога и дьявола!
Неужто мы обмишурились?

Взрыв виновен, и, стало быть, мы виновны,
извините издержки наших драк.
Но в прорывы бума вошел феномен —
миллионные Цветаева и Пастернак.

Что даст это дерево взрыва,
привитое в наши дни
к антоновскому наиву
читающей самой страны?

Озерной, интуитивной,
конкретной до откровенья...
Голову мне ампутируйте,
чтоб в душу не шла гангрена.

Подайте калеке духовной войны!
Сломанные судьбы — издержки игр.
Мы с тобой погибли от информационной
информационный взрыв — бумажный тигр. волны,

...Как тихо после взрыва! Как вам здорово!
Какая без меня вам будет тишина...
Но свободно залетевшее
иррациональное зернышко
взойдет в душе озерного пацана.

И все будет оправдано этими очами —
наших дней запутавшийся клубок.
Вначале было слово. Он все начнет сначала.
Согласно информации, слово — бог.

ДЕЖУРНАЯ АПТЕКАРША

- Аптекарша, дай мне забвение!
Желательно внутривенное.
- Аптекарша, мы из села Вязники,
Мы язвенники.
- Аптекарша, дай кислорода!
Перекрыли царя природы.
- Без очереди, криворотый!
- А ночью рецепт откеда же?
- Со всего света мы тут, аптекарша,
истомились за столетье истекшее...
- Не сосед, а горе-злосчастье —
аптекарша, дай противозачаточное...

Я тебя в дежурство развлекаю.
Ты все время возвращаешься к клиентам.
Хохлятся латинские лекарства
на крутящихся темных этажерках,
словно рижские голубятни
или кафедры римских соборов.
Аптекарша, бессонный мой совенок!
Дверь дубовая — на засовах,
в ней квадратное окошко за решеткой,
и сквозь это окошко милосердное
умоляют глаза и носоглотки,

рецепты, фуражки милицейские,
кашли, башли, печали, челюсти.
Излечимо ли человечество?

- Аптекарша, дайте мне яду!
- Принимайте, по возможности, Моцарта.
- Аптекарша, свинцовых примочек,
а шоферу чего-нибудь мятного!
- Я с поста. Отвори, аптекарша,
изложу дежурство протекшее.

Я кручу лекарственные столики:
Меня их кружение забавляет.
Скажем, вызову: «Н. Н. Кроликов!»
И Кроликов появляется.
— Аптекарша, блок кодеина.
— Обтерпишься! (Местный Катилина.)

Я взрываюсь: «Алкаши! Пустобратия!
Упыри! Марафетчики патлаты!»
Говоришь ты: «Выключи радио...» —
И мне рот затыкаешь халатом.
— Аптекарша, смерть артерию!
— Отужинаем, аптекарша!
— Дочка сейчас отелится,
облажались мы с тобой, аптекарша.
— Аптекарша, аптекарша, аптекарша...
— Аптекарша, дай мне забвение.
Возможно. Но тем не менее...

Излечимо ли человечество?
Смерть — причина или личина
неземной какой-то заразы?

Стойки лекарственных заказов
кружатся в наивном спиритизме.
И дрожат, недоступные для глаза,
паутинки радужные жизни,
от тебя протянуты в квартиры,
к обитателям краткого крова,
к постовому, к тому же Кроликову,
как бессонные лески рыболова.
Ослабела вдруг паутинка —
значит, в ком-то жизнь поутихла.

Ты встаешь, чью-то жизнь поправишь,
аптекарьша, случайный мой товарищ...
Пахнет сеном, сушеной астрой,
буквы вышиты на халатике.
Ты к нам перевелась из-за астмы
из какой-то другой галактики.

И когда посетители последние
откачнутся, оставив кассу,
ты встаешь и в надрывном кашле
припадаешь к окошку милосердному,
видишь город и утро серое,
и сквозь тучи, почти весенние,
откроется квадратик небосвода...
«Дайте аптекарше кислорода!»

* * *

Был он мой товарищ по классу,
бросил школу — шофером стал.
И однажды, вгоняя в краску,
догнал меня самосвал.

Шел с мячом я, юный бездельник.
Белобрысый гудел, дуря.
Он сказал: «Пройдешь в академики —
возьмешь меня в шофера».

И знакомого шрама гримаска
подняла уголочек рта —
так художник сдирает краску,
где улыбка вышла не та.

И сверкнула как комментарий,
на здоровом зубе горя,
посильней золотой медали,
золотая «фикса» твоя...

Жизнь проносится — что итожить?
Отчитываться не привык.
Я тебе ничего не должен.
Что гудишь за мной, грузовик?

Я ли создал мир с нищетою?
Твой отец расстрелян войной.
В этой жизни ты был теневою,
я ж, на вид, иной стороной.

Васильковый укор подпаска,
золотистая голова —
как грузил ты, эпохи пасынок,
горя полные кузова?

Пол-ломтем обдирного хлеба
полукруглый встал ветровик.
На ступеньку ты ближе к небу
был, чем я, вскочив в грузовик.

У меня свои самосвалы.
Крутизной дорога права.
Но опять за спиною встали
неразгруженные кузова...

Мой товарищ поры начальной,
каким стал? Почему позвал?
Почему мне снится ночами,
что попал под твой самосвал?

* * *

Оправдываться — не обязательно.
Не дуйся, мы не пара обезьян.
Твой разум не поймет — что объяснять ему?
Душа ж все знает — что ей объяснять?

АРХИТЕКТОР ПАВЛОВ

На Вас альпийские волосы —
как преображенный парик,
за которым угадываются
камзол и коса,
девичьим румянцем лицо горит,
а глаза —

они венецианские, я бы сказал,
Вам предшествует приход синевы.
Сначала синий заполняет зал.
А спустя минуту
являетесь
Вы.

Однажды Вы спроектировали
бабочку-стадион,
который летал на игры
на конструктивной раме.
Игроки и зрители размещались в нем.
Вам сказали: «Рано!»

Но никогда не рано прийти впереди себя
и в душах неподготовленных
смущение учинить.

Спокойно уйдет по воздуху
поторопившаяся стопа.
Я — Ваш, Леонид Николаевич,
незадачливый ученик.

* * *

Любовь и горе — вне советов.
Наглеющая верхоглядь,
великих женщин и поэтов
не вам учить или понять!

Когда поэта в гробе мчали,
осталась дома Натали.
Горизонтальная Наталья
летела с ним за край земли.

ТЕЛЕГРАММА

(На мотив А. Жюфруа)

ТЕБЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ ПОЧТА РЯЗАНИ
КАЗАНИ ТАНЗАНИИ И ВЫШНЕГО ВОЛОЧКА =
ТАКАЯ ТОСКА ТЧК ПРОСТРОЧЕНЫ МНОГОТО-
ЧИЕМ СЛЕДЫ ТВОЕГО КАБЛУЧКА ТЧК С ТО-
БОЙ МЫ ЛЮБОВЬ КРУТАНУЛИ НА ФОНЕ
ПРИБОЯ И ОГНЕННОГО ПЕСКА ТЧК ТЫ ВСЯ
ГОЛУБАЯ СПИНА ГОЛУБАЯ ЕЩЕ ГОЛУБЕЕ
ЩЕКА ТЧК ЛЕЖАТ НА ПЕСКЕ ИЛЛЮЗИИ И
СБРОШЕННЫЕ ШЕЛКА А ТАКЖЕ РОМАН
ЮЛИАНА ИЗ ЖИЗНИ ОДЕССКОЙ ЧК Я
БРЕЮСЬ ЖУЖЖАЩЕЮ БРИТВОЙ МЕНЯ ТЫ
ЦЕЛУЕШЬ И ЛЮБИШЬ И ЛАСТИШЬСЯ БРЕЮСЬ
ПОКА ТЧК ТОБОЮ РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ
ЛЕТИТ НА ЧЕТЫРЕ КУСКА ПРИМЕТА ОСТРА И
ГОРЬКА ТЧК О БУДЬ ОСТОРОЖНЕЙ ОБРЕ-
ЖЕШЬ СВОИ ГОЛУБЫЕ БОКА ТЧК ПРОЩАЙ
ОТРАЗИВШИСЬ В ОСКОЛКАХ К ТЕБЕ НЕ ВЕР-
НУСЬ НИКОГДА ТЕБЯ НЕ ЛЮБЛЮ НИКОГДА
НИКОГДА ОПЯТЬ НА ТЕБЕ СТАВЛЮ ТОЧКУ
ТЧК ТЧК ТЧК ТЧК ПОИЩИ ДУРАЧКА ТЧК ПОЙ-
ДЕШЬ СПОТЫКАЯСЬ НА КАЖДОЙ СТУПЕНЬ-
КЕ МОСТКА ТЧК ПОКА ТЧК МОЯ ГОЛУБАЯ
ЕДИНСТВЕННАЯ НАВЕРНЯКА ТЧК ПРОЩАЙ
ТЫ ОСТАНЕШЬСЯ В СТРОЧКАХ ТЕЛЕГРАФНО-
ГО ЯЗЫКА И ГДЕ ТО НА ПОЧТЕ НОЧЬЮ НАД
СКОМКАННЫМ БЛАНКОМ СРОЧНЫМ ТЫ
ВСКРИКНЕШЬ НЕВИДИМА И БЛИЗКА ТЧК
ПОЙМЕШЬ ЛИ СКВОЗЬ ЭТИ СТРОЧКИ МОЙ
ОДИНОКИЙ ВОПЛЬ ВОПР =

МИКЕЛАНДЖЕЛО

**Немало и солнц и империй зашло,
но чувство бессмертно, и вечно такое,
где лебедю Леда, поправив рукою,
сунет голову под крыло.**

* * *

Когда ты забираешь наверх под кепку волосы —
как подтыкают юбку, когда моют пол, —
с какой незащищенной и загорелой вольностью
восходит твоя шея к камням римских школ!

И все, что я успею, — запомнить эту шею
и завиток щекотный и поблагодарить
за то, что жизнь прекрасна и рядом на скамейке
московская камешка в кепарике парит!

ЖЕНЩИНА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

(На могиле В. Д. Смита)

Ты все причесываешься в ванной,
все причесываешься.
Все пирамиды, сфинксы все изваяны,
ты все причесываешься,
гусиные вернулись караваны,
Шехерезады выдохлись и Чосеры,
ты все причесываешься.

Ты чешешь свои длинные, медвяные,
окутываешь в золото плечо свое,
с пушком туманным тело абрикосовое,
ты все причесываешься.

Свежайшие батоны стали черствыми,
все розы распустившиеся свянули,
устали толкователи Евангеля,
насытились все властью облеченные,
отмучились на муки обреченные,
повысохли в морях русалки вяленые,
все тайны мироздания — при чем они?
Ты с Вечностью ведешь соревнование.
Ты все причесываешься.

Четвертый час заждался на диване я,
осточертела поза мне печоринская,
паркет истлел от пепла папиросного,
я ногу отлежал, да и все прочее,
как говорится, положение «сосовое»,—
ты все причесываешься.

Все в ресторанах съедены анчоусы,
спиричуэлсы спеты бесталанные,
накрылось электричек расписание,
чесать пора отсюда, я подчеркиваю,
но ты, как говорится,
не почесываешься,
ты драишь косы щеткою по-черному.
«Под ноль» тебя обрею!
Ноль внимания.
Ты все причесываешься.

Люблю я эту дачу деревянную,
жить бы да жить
и чувствовать отчетливо,
что рядом ты, душа обетованная,
что все причесываешься!..

Под дверью свет твой
прочертился щелкою,
в гребенке электричество пощелкивает.
Эй, берегись! Устроишь замыкание!
Ночной смолою пахнет сруб отесанный.
Я слышу — учащается дыхание.
Чу! Кончила? Шуршит простынка банная.
Нет, все причесываешься.

ЛЫЖНИК

Один на один со Вселенной,
один против ветра и льдин,
конечно, ты вместе со всеми,
и все же — один на один.

Один на один со стихией,
и этим непобедим,
частица людей и России,
и все же — один на один.

Металлом обитые лыжи
оставят пустые лыжни,
как шашкой во имя жизни
оставленные ножны.

Откажут и лыжи и тело,
идешь на желанье одном.
Стоять на своем — это смело,
смелее — идти на своем.

За это в арктической точке
на двадцать четвертой «СП»
подснежник морозоустойчивый
подарит полярник тебе.

**И с этим народом отборным
поймешь настоящий успех,
полученный в единоборстве,
и все же — со всеми, за всех.**

МОРОЗ

От мороза лопнут трубы —
ничего!
Мы пока еще не трупы,
нам с тобою горячо.

Москва вроде Минусинска:
минус 45.
Значит, предстоит разминка,
чтобы кровь полировать.

Я люблю не оттого ли
наш крещенский холодок —
полирует кровь и волю,
как для зайца нужен волк.

Помнишь время молодое?
Мы врывались на пари,
оставляя пол-ладони,
примороженной к двери.

У мороза звон мажорный.
Принимайте душ моржовый!
Кому холод — лютый,
а кому — валютный.

Не случайно мисс Онассис,
бросив климат ананаса,
ценит наши холода,
молодея навсегда...

Белки, царственно шуруя
по волшебному стволу,
траекторией шурупа
завинтились в синеву!

Помнишь, как они гонялись,
в нашу летнюю судьбу
завивая гениально
цепь златую на дубу?

Хороши круговороты!
Снегом душу ототрем.
Все условия для полета:
минус 40 за бортом.

ДЕТСКИЕ СТИХИ

Крокодилы окотились!
Возле сонных крокодилиц
присосавшиеся спят
пятьдесят крокодилят.
Тех, кому не хватит мест,
мама съест.

Крокодильчики из кожи
так на туфельки похожи.
Привозите-ка невест!
Кому впору — мама съест.

Самый юный крокодил
себе зубик обломил.
Думал — это мама, но
оказалось, что бревно.
У соседа тоже драма.
Грыз бревно, а это — мама.

КВАРТИРА

Кто в квартиру сгоряча
сунул ключ от «Москвича»?
Вся квартира затряслась
и, чихая, завелась.
Газ!

Полетела с завыванием!
Как прицеп — санузел с ванной,
в ванной нежится соседка,
фен засунула в розетку.
Пролетая над народом,
не спускайте в ванной воду!

Увели тебя красиво.
Толпы взрослых и детсад —
все гонялись за квартирой,
но квартиру не достать.

Где летаешь ты, квартира?
В чудесах большого мира,
где порхает меж ветвей
благозвучный Коровей.

Он народы обзирает,
он романсы распевает,
оттого и нелегко
достать птичье молоко.

Что видала ты, квартира?
В облаках летает с лирой
неоклассик, как Пьеро,
в спину всунувши перо.
Перо всунул — полетал,
перо вынул — написал...

Хорошо летать без трассы,
оглашая небо Штраусом,
для квартиры у властей
нет предела скоростей...

А внизу, разинув рот,
дом покинутый орет,
как без ящика комод:

«Кто ж в квартиру сгоряча
ключ сует от «Москвича»?
Надо бы от самосвала,
чтоб все зданье полетало».

НОВАЯ ПРИРОДА

Красные коровы
лежат на асфальте,
млеют на асфальтовой сковородке.
Мы их объезжаем —
коровы святы!
Стали патриотками шоссе
коровы.

«Доложите истину, долгожитель в сванке,
почему коровий народ сдурел?»
«Потому что мухи не любят асфальта».
Мудрые коровы НТР!

Поняли, хитрюги! Рогатые гении!
Мухам незадачливым не в пример.
«Просто мухи знают —
асфальт канцерогенный».
Мудрые мухи НТР!

* * *

Я внесу тебе клумбу зимнюю.
Цикламены дышат свежо,
сжаты ручкою от корзины,
как твое в бретельке плечо.

ИЗ ЯКУТСКОГО ДНЕВНИКА

«Что он Гекубе?
Что ему Гекуба?»
Что я якутам?
Что мне якуты?

Но я тоскую по Якутии
с такою краткою травой!
Ее природа внешне скудная,
зато душой не оторвешься.

Как бережно дома якутские
над мерзлотой парят на сваях!
Они прохладой землю кутают,
чтоб, как Снегурка, не оттаяла.

С какой надеждою скворешни
стоят на кладбищах дощато,
чтоб души временно умерших,
настранствовавшись, возвращались.

Здесь время све́же, как из лёдника.
И в логове оленевода
Данилов мне читает Хлебникова,
понятного без перевода.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Я так считаю. А кто не смыслит —
ходи в читальню.
Есть у поэзии и эта миссия,
я так считаю.

ТЮЛЬПАНЫ

Сюда земной не залетает звук.
Налево — юг, направо — юг,
юг — спереди, и сзади — юг,
и снизу юг глядит, как в черный люк.
И, словно воплощенье телепатии,
живые подмосковные тюльпаны
стоят и озираются вокруг.

Есть города — но это все южнее,
есть путь сюда — но это все южнее,
чужие, да и ваши, пораженья,
южнее — жизнь, которая сбылась,
тюльпанным капюшоном голубея.
Наверно, есть красивей и нужнее,
но нет на свете севернее вас.
И нет тебя нежней, московский парень,
который месяц не снимавший лыж,
когда ты эти ломкие тюльпаны
от холода собою заслонишь.

Ты перенес ледовую жестокость,
радировал со льдины при свече.
Наверно, полюс собирает в фокус
все абсолютное в тебе.

**Призеры и фанаты горизонта,
в тюльпанных куртках шедшие сюда,
к торосам, озаренно-бирюзовым,
лечите душу синим светом льда!**

У КОСТРА

«Будь проклята, вечная мерзлота!»
Кумысный спирт развязал уста.
«Давайте растопимте этот лед.
У вас есть ГРЭС в мильон киловатт.
Природа избавится от мерзлот,
Кругом зацветет невозможный сад!» —
«Спасибо, гость, за красивый тост,
Но, если растопится вечный лед,
Вода в глубины из почв уйдет —
Будет пустыня на тыщи верст».
Я выпил тост, я усвоил суть.
Но губы неслушающегося рта
Спяну никак не произнесут:
«Да здравствует вечная мерзлота!»

ПОЛЮС

Над мировым кружением отчаянным
стою и думу думаю свою.

Мне полюс говорит:

«Пусть все вращаются.

Я постою».

* * *

Соскучился. Как я соскучился
по сбивчивым твоим рассказам.
Какая наша жизнь лоскутная!
Сбежимся — разбежаться сразу.

В дни, когда мы с тобой разверстаны,
как крестик ставит заключенный,
я над стихами ставлю звездочки —
скоро не хватит небосклона!

Ты называешь их коньячными...
Они же — попаданий скученность
по нам палящих автоматчиков.
Шмаляют так — что не соскучишься!

Но больше я всего соскучился
по краю глаза, где смешливо
твой свет проглядывает лучиком
в незагоревшую морщинку.

* * *

Я помню птиц неутолимой Вечности.
Я помню хруст их клювов и зрачков.
И отлетали ножки от кузнечиков,
как дужки отломившихся очков.

ИЗ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Если были бы чемпионаты,
кто в веках по убийствам первый,—
ты бы выиграл, Век Двадцатый.
Усмехается Век Двадцать Первый.

Если б были чемпионаты,
кто по лжи и подлостям первый,—
ты бы выиграл, Век Двадцатый.
Усмехается Двадцать Первый.

Если б были чемпионаты,
кто по подвигам первый,—
нет нам равных, мой Век Двадцатый!..
Безмолвствует Двадцать Первый.

ТУДОР АРГЕЗИ

ДЫБА-ВОЕВОДА

Слава, слава Владу-воеводе,
в мире утвердившему покой и лад!
Слышен лист дрожащий в чистом небосводе.
На земле бояре, как листва, дрожат.

Он большой мыслитель, Влад непобедимый,
гуманист деяньями и душой,
он сажает на кол бояр любимых,
зад соединяя с головой.

Дорогим боярам приготовив свечку,
он от христианства не отошел —
ставит в церкви свечи в честь жизни вечной,
каждому по чину выбирая кол.

Кол из кипариса подобает визирю,
кол из лучшей липы пойдет послу.
Благостный епископ над страной возвысился
на ароматизированном колу!

Чтоб восславить Влада, съезжались гости —
во дворец съезжался совет страны.

Закипали кубки, взвивались тосты:
как все любят Влада и как верны!

И пока оратор говорит: «Спасибо!» —
Влад соображает, припав на стол:
«Какую б тебе, милый, придумать дыбу,
какой бы получше приготовить кол?»

1927

(Перевод с румынского)

* * *

От Ховрина и до Мехико
под парусом новых халуп
мы верим сегодня в Сантехнику,
как в Санта Марию — Колумб.

— За что тебя, Авель? — За кафель! —
Но все это пошлость и чушь,
когда, словно музыка с клавиш,
пошел очищающий душ!

Всплывут над водою зеленой
ног крохотные персты —
как крылышки утомленные,
появятся у воды.

Волшебные их отраженья
беспечно напоминали
то в виде пичуги печенье,
то маленькие цимбалы.

Торчат золотей Тициана
два краешка жизни твоей —
по пальцы обрезанных ванной,
натертых на танцах ступней...

Душ брошен и корчится шлангом.
Прошла уже тысяча лет.
А он все зовет ее «ангел».
Другого названья нет.

* * *

Проходишь ты без попутчика,
подняв воротник двубортный,
как клочок неба в тучах
обиженно-голубого.

Ты не попала в раму.
Только вздохнешь глубоко.
Скроется за углами
обиженное голубое.

Сдуло тебя ветрами.
Осталась кому угодно
невзятая телеграмма
поспешного голубого.

Обманутая погода!
Плацкарта до Боллого.
Не пойманное позолотой
свободное голубое.

* * *

Ни в паству не гожусь, ни в пастухи,
другие пусть пасут или пасутся.
Я лучше напишу тебе стихи.
Они спасут тебя.

Из Мцхеты прилечу или с Тикси
на сутки, но зато какие сутки!
Все сутки ты одета лишь в стихи.
Они спасут тебя.

Ты вся стихи — как ты ни поступи,—
зачитанная до бесчувствия.
Ради стихов рождаются стихи.
Хоть мы не за «искусство для искусства».

БАЛЛАДА СПАСЕНИЯ

(На могиле Ш. Нишвианидзе)

Во время авиакатастрофы над океаном тбилисский профессор Жордания отдал свой спасательный жилет чужеземной девочке, которой жилета не досталось. Жордания погиб.

1

«Боинг» среди океана тонет,
как мертвый кит.
Народ в пылающем «Боинге»
давится и вопит.
Натягивают пассажиры
спасательные жилеты,
и только жилета нету
для девочки безбилетной.
Звереют у люка люди.
Ни в ком сострадания нет.
Но кто-то с себя снимает
и ей
отдает
жилет.
Девочка! кругом звери!
Но он из других натур —

вдохнул на прощанье поглубже
и сам ей жилет надул.
Потом подмигнул стюардессе:
«Не надо меня жалеть.
У каждого свои вкусы.
Я не ношу жилет».
«Держись!» — приказал он девочке.
И вытолкнул ее в люк.
И кинул ей вслед последний,
как нимб,
спасательный круг...

II

Мингрельская колыбельная и сказка
его взрастила.
Его воспитали заветы
Цотне и Автандила.
Его воспитали песни,
где слезы быка мы встретим,
участье к любой пичуге,
но главное — нежность к детям.
Под дудочку без оглядки
танцуют в полях несжатых
грузинские ангелята —
грузинские медвежата.

III

Вы — дочь народа великого.
Что с вами сегодня стало?
Может, вы, утомившись,
склонились на руль «мустанга»?
Вы — дочь народа великого.

Но знаете ль, грустнолицая,
что есть крохотная Колхида —
обитель великих рыцарей?

Вы выросли,
стали матерью,
вас манит жизнь впереди,
спасенная воздухом,
выдохнутым
из грузинской груди.

Паря на бесшумных шинах,
вы счастливы,
очень счастливы,
но спасшего вас мужчину
вы вспоминаете часто ли?
Он каждую ночь вам снится.

Он вас беспокоит,
ибо
спасательный круг струится
над ним
милосердным нимбом.

Когда-нибудь приезжайте в наши
пенаты,
дочка,
здесь люди гостеприимны —
как он,
такие же точно.

Любимая моя Грузия!
Жертвенная страна.
В море, как круг спасательный,
покачивается луна.

* * *

Зрители в бушлатах дымят махрой —
ставит Революцию Мейерхольд.

Радость открывающий мореход —
Всеволод Эмильевич Мейерхольд.

Профильным, провидческим плоск лицом —
будто сплющен времени колесом.

Ставили «Отелло». Реквизит —
на зеленой сцене платок лежит.

Яго ухмыляются под хмельком:
«Снова мерихлюндии, Мейерхольд?!»

Скомканный платочек — от слез сырой...
Всеволод... Эмильевич... Мейерхольд...

С пьедесталов сцены — э! — мировой
полыхает Всеволод Мейерхольд!

ЯБЛОНЬКА

Тебя стерегут, как яблоню
в период плодоналива.
Старый бердан поддавливает.
Это подло, наивно!

И непонятно разве
подход стерегущим ружьям,
что яблони сами лазают
через забор к ворующим?

ОКНО

Припади к стеклу — что я делаю? —
совпадение запотелое.

Золотая до обалдения,
запотевшее совпадение.

Совпадение наших судеб,
наших шуток, лесных как Шуберт.

Нос приплюсни в окно потешное,
совпадение запотевшее.

Торопись, моя современница,
горы сдвинутся, царства сменятся,

только это и неподдельное —
запотевшее совпадение.

* * *

На соловья не шлют доносов скворки,
у них не яд, а песня на устах.
Мне жаль тебя, завистник-стихотворец,
слабак в стихах, ты злобствуешь в статьях.

**ШУТОЧНАЯ ПЕСЕНКА
О СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ**

Два берега с мостом понтонным
глядят, как редут на редут.
На левом, заливиستم, тонут.
На правом спасатели ждут.

Когда правый берег в подпитии,
кричит он в болотную гладь:
«Топите, топите, топите,
чтоб было кого спасать!»

И эхо лукавою гладью
доносит русалочью пруть:
«Спасайте, спасайте, спасайте,
чтоб было кого топить!»

СПАСАТЕЛЬ ПАВЕЛ

Он, говорят, сидел за человека.
Спасатель он.
Свези меня, спасатель, через реку,
Антихарон.

Когда он возвращается в субботу
с тяжелым дном,
грозит ему из лодки безработный
старик Харон.

Немало душ он перевез оттуда —
темна вода,—
с тех пор как он неверную подругу
отвез туда.

Немало жизней в форме и гражданских
взял с глубины,
но женщина не хочет возвращаться
с той стороны,

где прошлого пленительные возгласы,
где колются, где пьют одеколон...
И отвернет свое лицо без возраста
Антихарон.

Подружка-жизнь, красивая дуреха,
маши-маши с ромашковой горы!..
И делает реке татуировку
рой мошкары.

Другой — но от заката ли? — неясно —
рой золотой
толчется ореолом неотвязным
над головой.

Он дом завел. Когда свободен, удит:
Дети пошли.
А тепленький когда, угрюмо шутит:
«Утопленники жизнь мою спасли».

РЕКА

Пусть на суше взывает доблестно
неплавающий народ,
безымянное мужество совести
к утопающему плывет.

Пусть молва потом обознается.
Ты, кто спас, уплыл под шумок.
Пускай помощь твоя безымянная,
не себе — человеку помог.

Ты потом его в городе встретишь.
И, спасенную руку пожав,
«Бог помог!» — ты шутливо ответишь.
И окажешься прав.

РЕНТГЕНОСНИМОК

(На мотив В. Д. Смига)

Держу я твои кости тазовые —
после паденья,
мне рентгенолог их показывает, —
как держат треснувшую вазу.
Он — парень дельный.
Но память понимать отказывается.
Она, балдея,
зовет виденья неотвязные —
как мы лежали в роще вязовой
в тот понедельник.
Мы были фразами, запястьями,
смеялось тело и гудело,
меня руками опоясывая,
была ты худенькой кудесницей.
Лес повторял священнодействие.
И без набедренных повязок
летели навзничь сосен тени.
Что предвещало их падение?
Ушла ты, бедрами покачивая,
заколки затыкая в голову,
чтобы назавтра в «помощь скорую»
тебя втолкнули по-багажному.

И все, что было жарким, спелым,
шумело лиственной легендой,
предстало снимком черно-белым
в лучах рентгена.

А может, это фото духа,
что обретает форму таза?
Но невозможно видеть глазу,
что слышит внутреннее ухо.

В ночном объятии простынок
лежишь в постели.

Она — как выбеленный снимок
лежанок роц, что мы имели.

Ты выздоравливаешь, женщина
с такою хрупкою начинкой.

Мне снится болевая трещина,
которая светла на снимке.

И сквозь небытие и темень
ты длинноного, обалдело
бежишь ко мне счастливым телом —
как в тот пречистый понедельник
перед паденьем.

* * *

Я вернусь, когда в город уйдешь,
и уткнусь в твой плащик на ватине.
И пойму, что шел с вечера дождь
и что из дому ты выходила.

Выбегала с крыльца до ворот,
возвращалась понуро к крылечку.
Хорошо, когда любит и ждет,
но от этого только не легче.

ТОСКА

**Который день на койке латаной,
отвратный самому себе,
лежу ничком, как перекладина
к моей оконченной судьбе.**

БЕРЕГ

Р. Раушенбергу

Здесь отпечатки пальцев птичьи
На утренних песках лежат —
Как треугольнички девичьи
От испарившихся наяд.

★ ★ ★

Когда человек боится —
выделяет адреналин.
Это знают собаки
и, лая, бегут за ним.

Когда ты вбегаешь в комнату
в черемуховом платье,
за тобой залетают осы —
ты выделяешь счастье.

Я знаю одного приятеля
с тухлым взглядом деяги.
Над ним все летают мухи.
Патоку он выделяет.

НЕКРОЛОГ

Покойник был не кролик.
Ему бы чуточку пожить —
некому было б хоронить.

НИКОГДА

(На могиле В. Д. Смига)

Я тебя разлюблю и забуду,
когда в пятницу будет среда,
когда вырастут розы повсюду,
голубые, как яйца дрозда.

Когда мышь прокричит кукареку.
Когда дом постоит на трубе;
когда съест колбаса человека
и когда я женюсь на тебе.

* * *

Вызывайте ненависть на себя почаще,
пусть кому-то нежному достанется счастье.

Под прицелом снайпера закурите «Мальборо»
и четверостишие напишите набело.

Вызывайте ненависть тем, что выживаете.
Пусть прицелы пляшущие скажут — вы из ваты.

И скажите с нежностью снайперу всемирному:
«Расстрелял всю ненависть?
Тебе легче, милый?»

* * *

Когда всегда передо мной
прикидываешься беспечной,
я думаю, какой ценой
твой свет всегдашний обеспечен.
Мы были счастливы в воде,
где нету городской пыли,
где ты естественна и где
твои красивые заплывы.

Как трудно быть тебе земной,
казаться из земного теста
весною, летом и зимой
и только месяц быть естественной.
Ах, скука, скука, скукота,
где город и бензином морят,
ах, суша, суша, сухота —
а ты для бога и для моря.

ТЫ ЧУДО ВСЯ — ДАЖЕ ПУСТЯК ТАКОЙ!

Возьми на палец Божию коровку.
Она щекочет палец золотой —
по дактилоскопическим бороздкам
головка с музыкальною иглой!
На всем печать мелодии короткой...
И небо ожидает над тобой.

ИЗ МЕКСИКИ

Не пирамидам, не древней эротике,
не кружевным кафедральным массивам,
я поклонюсь на картофельной родине
картошке — спасительнице России.

Я поклонюсь этим клубням разлапым,
давним кострам ритуальной ботвы,
я поклонюсь нашим всеощным бабам
в очередях затемненной Москвы.

Эта внедрившаяся культура,
в нас обрусев, пропитала страну.
Как усмехнулась старуха под Тулой:
«Картошка выиграла войну».

И не бывает яств безрассудней —
выйдя в ночное с луной молодой,
взять из золы раскаленные клубни
и перекидывать на ладонь!

Не повлияли Матиссо-Гогены
на омовение красных коней —
может, кричат мексиканские гены
в сыне картофельных полей?

Вот почему забайкальские скулы
в гвадалахарской вижу толпе.
Вот почему по-испански тоскует
лабух малаховский на трубе.

Историю вспомните и, лютуя,
по малограмотности своей
не проклиняйте ввозную культуру.
Постойте в очереди за ней.

В первооснове жизни и слова
культуры, обмениваясь, шумят.
Вы нам — картофель, мы вам — вишневый
непостижимый чеховский сад.

Сад этот заполнил все столицы,
его не вырубить и не постичь.
Зачем вы ездили за границу?
Предков почтить.

* * *

Как была ни сложна партитура
и хрустально вранье,
оказалась душа — проститутка.
И я выгнал ее.

Пусть шатается, шлендрает, сдохнет,
в телефонах молчит.
Мой эпический хохот
нарочит.

ЭКОЛОГИЯ

Долой меньшинства божество!
Отдай большинству украденное.
Эксплуатируемое большинство
свергает аристократию.

Долой меньшинства божество!
Грабителей разоружили.
Эксплуатируемое большинство
свергает буржуазию.

Долой меньшинства божество!
Глядит на людей с любопытством
эксплуатируемое большинство
пернатых, рогатых, копытных...

МЕХИКО — СИТИ

Мехико — сито.

Как будто клубники корыто
мелкою сеткой от мух и туристов покрыто.

В сетке москитной
весь город от смога. Ей-богу,
несколько стыдно
за грязную нашу эпоху.

Но как красивы огней алфавиты!

Что ты просеешь,

Мехико — сито?

Из-под вуали спой, Карменсита:

«Губы насытились — сердце не сыто».

Малая Нерль проступает из хмари —
творог небесный, откинутый марлей.

Или Блаженный, снежком заносимый,
виснет авоською с апельсинами?

Что меня носит по свету транзитом?

Тело намаялось, сердце не сыто.

Бегство от быта — смешная защита,
все ненасытней растут аппетиты.

Любим сквозь сито, поем через сито.

Сыты по горло — сердце не сыто.
Небо не сыто. Окошки открою —
ты прилетаешь по воздуху кролем.

Как ты нашла меня здесь, полночица?
Как ты волнуешься, часто дыша,
розовой молнией позвоночника
туго затянутая душа!

ТЕРНОВНИК

И. Козырева

В чудотворном цветении терна
есть неведение про подлог.
И подобье медвяного стона
тянет в сторону от дорог.

Есть в снотворном цветении терна
нота боли или тоски —
словно яблок сквозь крупную терку
или с сердца летят лепестки.

Отклонитесь в цветение терна
от проторенной колеи
в звон валторны — слабей на полтона,
чтобы слышать другие могли.

Я твои не обижу повторно
оклеветанные цветы...
Нет шипов у цветущего терна.
Отцветет — и начнутся шипы.

Идиллия

Кровь моя пела, в истории странствуя,—
полудуховная, полукрестьянская.

Я ли повинен за жизнь неизбежную —
полупольную, полунебесную?

Вдруг разблокированной генетикой
что-то проснется некабинетное —

под кнутовищем в полях полотняных
вой крепостного инопланетянина!

ДЕТСТВО

Я снова в детстве погостил,
где разоренный монастырь
стоит как вскинутый костыль.

Мы знали, как живет змея
и пионервожатая,—
лесные бесы бытия!

Мы лакомством считали жмых,
гранаты крали для шутих,
носами шмыг — и в пруд бултых!..

И ловит новая орда
мою монетку из пруда,
чтоб не вернуться мне сюда.

* * *

У края поля, в непроглядном веке
ты прислонилась к темному стволу,
как белая струна натянута на деку.
Ты чувствуешь, что рядом я стою.

Не станет нас. Ты белое относишь.
Относишь жизнь упругую и стать.
Но ты была струной горячего озноба.
Над полем будешь продолжать дрожать.

Меж бульдозеров, войн, столиц,
амнистируя, осеняя,
как арктическое сиянье.
Да сияет твоя ресничка,
в полснежиночки, невеличка,
чуть щекочущая, опавшая,
на щеке на моей проспавшая!..

Я живу в Каширском лесничестве.
Рыб слежу. Либо снасть чиню.
Только это мне — ни к чему.
Пуст мой лес, и поля собраны.
Гитарист бы сыграл —
струны сорваны...

1960

ПРАДЕД

Ели — хмуры.
Щеки — розовы.
Мимо
 Мурома
мчатся розвальни.

Везут из Грузии!
(Заложник царский.)
Юному узнику
горбиться
 цаплей,
слушать про грузди,
про телочку яловую...
 А в Грузии —
 яблони...
 (Яблонек завязь
 глядит, маня.
 Чья это зависть
 глядит на меня?!)

Где-то в России
в иных временах,

очи расширя,
тощий монах
плачет и цепи нагрудные гладит...

Это мой прадед.

1958

ПОВЕСТЬ ХУДОЖНИКА

Я встретился с Недоуменьем.
Недоумение звали странно.
Предъявила как документы
длинноногие свои данные.

Недоуменною медуницей
пахли глаза твои после экзамена.
Ты потерялась в толпе Москвы,
в грохоте нашей цивилизации,
словно волшебная спица вязальная —
недоуменная тихая спица
с кроткою бусинкой головы.

Длинноногое недоуменье,
как ты связала тихую спицей
дни и дела!
Пел переделкинский филумела.
Громкие музы над нами шумели.
Я обожаю женские спицы.
Муза безмолвная рядом пошла.

Втискивал в щели монеты негнутые
я в автоматы райцентров и стран,
недоуменно пил трехминутный
твоего голоса тихий стакан.

Недоумение от свершившегося,
недоуменье от предстоящего,
но доминировало недоуменье —
как же мы жили все это время?

Как мы жили без недоуменья?
В мире, спрессованном как пельмени
меж монументов добра и зла?

Каждое утро, как умываюсь,
что тебя не было — недоумеваю,
недоумеваю, что ты была.

А именины недоуменья,
когда завтрашнюю газету
я приносил тебе, разбудя,
и расстилал простыней непечатую,
и на плече твоём отпечаталась
лучшая строчка моя про тебя.

Это такая печати свобода,
живые стихи.
Всюду небесным громоотводом
бродишь со мной, отпуская грехи,—
так в непогоду луч удлинённый,
зябкий, ошибшийся, удивлённый,
ступит на землю, прорвавши верхи.

Есть в тебе что-то от тихого омута,
сонной русалки, прописанной в комнате,
есть в тебе помесь кельи и Клее
и неприкаянного поколенья.
Видел я сам, как влетаешь ты в форточку,
узкие бедра надраив фосфором.

Если размолвка набрякнет над домом,
просишь ты, лобик наморщив в резьбу,
с мукой какой-то недоуменной:
«Можно, я чашки сейчас разобью?»

Бей, молодчага, все что имеем,
дочь моих строчек, свобода и Русь!..
Вечно встречаюсь с недоуменьем.
С недоумением расстаюсь.

Как я расстался с Недоуменьем?
Это еще не случилось — случится.
Стану счастливым, стану надменным,
но это буду не я, а вы
вряд ли узнаете визуальную
женщину эту, взглянувшую с пирса,
будто блеснувшая спица вязальная,—
недоуменная божья спица
с кроткою бусинкой головы.

БАЛЛАДА

Я сегодня приду
и спокойно скажу,
что двадцатый окончился век.
Свои книги сожгу,
твои платья сложу,
«Мы свободны,— скажу,— без помех».

Отключится вода,
и включится звезда,
и забьешься ты в пляске своей.
Частым жабрам под стать
будут воздух хватать
треугольники жадных локтей.

Посреди темноты
заскользит, словно шрам,
след резинки над животом.
Я увижу, что ты —
пополам, пополам —
в этом веке и веке другом.

Обернусь я к гостям —
гости все пополам,
перерезаны в пояс столом.

Каждый в веке своем
мы по пояс живем,
под столом — в измеренье другом.

«Разве был этот век?» —
ты ответишь под смех.
Современники дискотек
будут в пол нам стучать
и напомнят опять,
что бессмертен XX век.

★ ★ ★

Две школы — женская, мужская...
Две школы — проза и стихи.
Зачем их разлучать? Не знаю.
Я пел хоралы и хиты.

Классификатор скрупулезный,
поди попробуй разними —
стихами были или прозой
поэтом прожитые дни?

Рисунки и прозы

МНЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ...

«Тебя Пастернак к телефону!»

Оцепеневшие родители уставились на меня. Шестиклассником, никому не сказавшись, я послал ему стихи и письмо. Это был первый решительный поступок, определивший мою жизнь. И вот он отозвался и приглашает к себе на два часа, в воскресенье.

Стоял декабрь. Я пришел к серому дому в Лаврушинском, понятно, за час. Подождав, поднялся лифтом на темную площадку седьмого этажа. До двух оставалась еще минута. За дверью, видимо, услышали хлопнувший лифт. Дверь отворилась.

Он стоял в дверях.

Все поплыло передо мной. На меня глядело удивленное удлинленно-смуглое пламя лица. Какая-то оплывшая стеариновая кофта обтягивала его крепкую фигуру. Ветер шевелил челку. Не случайно он потом для своего автопортрета изберет горящую свечку. Он стоял на сквозняке двери.

Сухая, сильная кисть пианиста.

Поразила аскеза, нищий простор его нетопленного кабинета. Квадратное фото Маяковского и кинжал на стене. Англо-русский словарь Мюллера — он тогда был прикован к переводам. На столе жалась моя ученическая

тетрадка, вероятно приготовленная к разговору. Волна ужаса и обожания прошла по мне. Но бежать поздно.

Он заговорил с середины.

Скулы его подрагивали, как треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом. Я боготворил его. В нем была тяга, сила и небесная неприспособленность. Когда он говорил, он поддегивал, вытягивал вверх подбородок, как будто хотел вырваться из воротничка и из тела.

Вскоре с ним стало очень просто. Исподтишка разглядываю его.

Короткий нос его начиная с углубления переносицы сразу шел горбинкой, потом продолжался прямо, напоминая смуглый ружейный приклад в миниатюре. Губы сфинкса. Короткая седая стрижка. Но главное — это плывущая дымящаяся волна магнетизма. «Он, сам себя сравнивший с конским глазом».

Через два часа я шел от него, неся в охапке его рукописи — для прочтения, и самое драгоценное — изумрудную тетрадь его новых стихов, сброшюрованную багровым шелковым шнурком. Не утерпев, раскрыв на ходу, я глотал запыхавшиеся строчки:

**Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи...**

В стихах было ощущение школьника дореволюционной Москвы, завораживало детство — серьезнейшая из загадок Пастернака.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи...

Стихи сохранили позднее хрустальное состояние его души. Я застал его осень. Осень ясна до ясновиденья. И страна детства приблизилась.

...Все яблоки, все золотые шары...

С этого дня жизнь моя решилась, обрела волшебный смысл и предназначение: его новые стихи, телефонные разговоры, воскресные беседы у него с двух до четырех, прогулки — годы счастья и ребячьей влюбленности.



Почему он откликнулся мне?

Он был одинок в те годы, устал от невзгод, ему хотелось искренности, чистоты отношений, хотелось вырваться из круга — и все же не только это. Может быть, эти странные отношения с подростком, школьником, эта почти дружба что-то объясняют в нем? Это даже не дружба льва с собачкой, точнее — льва со щенком.

Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину?

Его тянуло к детству. Зов детства не прекращался в нем.

Он не любил, когда ему звонили, — звонил сам. Звонил иногда по нескольку раз на неделе. Потом были тягостные перерывы. Никогда не рекомендовался моим опешившим домашним по имени-отчеству, всегда по фамилии.

Говорил он взхлеб, безоглядно. Потом на всем скаку внезапно обрывал разговор. Никогда не жаловался, какие бы тучи его ни омрачали.

«Художник, — говорил он, — по сути своей оптимистичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно, а унынье и размазня не рожают произведения силы». Речь лилась непрерывным захлебывающимся монологом. В ней было больше музыки, чем грамматики. Речь

не делилась на фразы, фразы на слова — все лилось бессознательным потоком сознания, мысль проборматывалась, возвращалась, околдовывала. Таким же потоком была его поэзия.



Когда он переехал насовсем в Переделкино, телефонные звонки стали реже. Телефона на даче не было. Он ходил звонить в контору. Ночная округа оглашалась эхом его голоса из окна, он обращался к звездам. Жил я от звонка до звонка. Часто он звал меня, когда читал на даче свое новое.

Дача его напоминала деревянное подобие шотландских башен. Как старая шахматная тура стояла она в шеренге других дач на краю огромного квадратного переделкинского поля, расчерченного пахотой. С другого края поля, из-за кладбища, как фигуры иной масти, поблескивали церковь и колокольня XVI века вроде резных короля и королевы, игрушечно раскрашенных, карликовых родичей Василия Блаженного.

Порядок дач поживался под убийственным прицелом кладбищенских куполов. Теперь уже мало кто сохранился из хозяев той поры.

Чтения бывали в его полукруглом фонарном кабинете на втором этаже.

Собирались. Приносили снизу стулья. Обычно гостей бывало около двадцати. Ждали опаздывавших Ливановых.

Из сплошных окон видна сентябрьская округа. Горят леса. Бежит к кладбищу машина. Паутиной тянет в окно. С той стороны поля, из-за кладбища, пестрая как петух, бочком проглядывает церковь — кого бы клянуть? Дро-

жит воздух над полем. И такая же взволнованная дрожь в воздухе кабинета. В нем дрожит нерв ожидания.

Чтобы скоротать паузу, Д. Н. Журавлев, великий чтец Чехова и камертон староарбатской элиты, показывает, как сидели на светских приемах — прогнув спину и лишь ощущая лопатками спинку стула. Это он мне делает замечание в тактичной форме! Я чувствую, как краснею. Но от смущения и упрямства сутулюсь и облакачиваюсь еще больше.

Наконец опаздывающие являются. Она — оробевшая, нервно-грациозная, оправдываясь тем, что трудно было достать цветы. Он — огромный, разводя руками и в шутовском ужасе закатывая глазищи: премьер, сотрясатель мхатовских подмостков, гомерический исполнитель Ноздрева и Потемкина, этакий рубаха-барин.

Затихали. Пастернак садился за стол. На нем была легкая серебристая куртка типа френча, вроде тех, что сейчас вошли в моду. В тот раз он читал «Белую ночь», «Соловья», «Сказку», ну, словом, всю тетрадь этого периода. «Гамлет» шел в конце. Читая, он всматривался во что-то над нашими головами, видное только ему. Лицо вытягивалось, худело. И отсвета белой ночи была куртка на нем.

**Мне далекое время мерещится,
Дом на стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты — на курсах, ты родом из Курска.**

Чтения обычно длились около двух часов. Иногда, когда ему надо было что-то объяснить слушателям, он обращался ко мне, как бы мне объясняя: «Андрюша, тут в «Сказке» я хотел как на медали выбить эмблему чувства: воин-спаситель и дева у него на седле». Это было нашей игрой. Я знал эти стихи наизусть, в них он довел

до вершины свой прием называния действия, предмета, состояния. В стихах цокали копыта:

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Бреды. Реки.
Годы и века.

Он щадил самолюбие аудитории. Потом по кругу спрашивал, кому какие стихи пришлись больше по душе. Большинство отвечало: «Все». Он досадовал на уклончивость ответа. Тогда выделяли «Белую ночь». Ливанов назвал «Гамлета». Несыгранный Гамлет был его трагедией, боль эту он заглушал гаерством и куражами буфона.

Гул затих. Я вышел на подмостки,
прислонясь к дверному косяку...

Ливанов сморкался. Еще более обозначились его набрякшие подглазья. Но через минуту он уже похохатывал, потому что всех приглашали вниз, к застолью.

Спускались. Попадали в окружение, в голубой фейерверк испаряющихся натурщиц кисти его отца, едва ли не единственного российского художника-импрессиониста.

О эти переделкинские трапезы! Стульев не хватало. Стаскивали табуреты. Застолье вел Пастернак в упоении грузинского ритуала. Хозяин он был радушный. Вгонял в смущение уходящего гостя, всем сам подавая пальто.



Кто они, гости поэта?

Сухим сиянием ума щурился крохотный, тишайший Генрих Густавович Нейгауз, Гаррик, с неотесанной гранитной шевелюрой. Рассеянный Рихтер, Слава, самый

молодой за столом, чуть смежал веки, дегустируя цвета и звуки. «У меня вопрос к Славе! Слава! Скажите, существует ли искусство?» — навзрыд вопрошал Пастернак. Рядом сидела стройная грустная Нина Дорлиак, графичная как черные кружева.

Какой стол без самовара?

Самоваром на этих сборищах был Ливанов. Однажды он явился при всех своих медалях. Росту он был петровского. Его сажали в торец стола, напротив хозяина. Он шумел, блистал. В него входило, наверное, несколько ведер.

«Я знал качаловского Джима. Не верите? — вскипал он и наливался.— Дай лапу, Джим... Это был черный злобный дьявол. Вельзевул! Все трепетали. Он входил и ложился под обеденный стол. Никто из обедавших не смел ногой шевельнуть. Не то что по шерстке бархатной потрогать. Враз бы руку отхватил. Вот каков кунштюк! А он сказал: «Дай лапу мне...» Выпьем за поэзию, Борис!»

Рядом смущенно и умильно жмурился большеглазый Журавлев в коричневой паре, как майский жук. Мыслил Асмус. Разлаписто, по-медвежьи заходил Всеволод Иванов, кричал: «Я родил сына для тебя, Борис!»

Помню античную Анну Ахматову, августейшую в своей поэзии и возрасте. Она была малоречива, в широком одеянии, подобном тунике. Пастернак усадил меня рядом с ней. Так на всю жизнь я запомнил ее в полу-профиль.

Врезался приход Хикмета. Хозяин поднял тост в честь него, в честь революционного зарева за его плечами. Назым, отвечая, посетовал на то, что вокруг никто не понимает по-турецки, а что он не только зарево, но и поэт и сейчас почитает стихи. Читал буйно. У него была грудная жаба, он тяжело дышал. Когда уходил, чтобы не

простыть на улице, завернул грудь под рубахой газетами — нашими и зарубежными, — на даче их было навалом. Я пошел проводить его. На груди у поэта шуршали события, шуршали земные дни.

Заходил готический Федин, их дачи соседствовали. Чета Вильям-Вильмонтов восходила к осанке рокотовских портретов.

Жена Бориса Леонидовича, Зинаида Николаевна, с обиженным бантиком губ, в бархатном черном платье, с черной короткой стрижкой, похожая на дам артново, волновалась, что сын ее, Стасик Нейгауз, на парижском конкурсе должен играть утром, а рефлексy у него на вечернюю игру.

Рубен Симонов со сладострастной негой и властностью читал Пушкина и Пастернака. Мелькнул Вертинский. Под гомерический стон великолепный Ираклий Андроников изображал Маршака.

Какое пиршество взору! Какое пиршество духа! Ренессансная кисть, вернее, кисть Боровиковского и Брюллова, обретала плоть в этих трапезах.

Он щедро дарил моему взору великолепие своих собратьев. У нас был как бы немой заговор с ним. Порой сквозь захмелевший монолог тоста я вдруг ловил его смешливый карий заговорщицкий взгляд, адресованный мне, сообщавший нечто, понятное лишь нам обоим. Кажалось, он один был мне сверстником за столом. Эта общность тайного возраста объединяла нас. Часто восторг на его лице сменялся выражением ребячьей обиды, а то и упрямства.

Иногда он просил меня читать собравшимся стихи. Нырять как в холодную воду, дурным голосом я читал, читал...

**На звон трамвая, одурев,
Облокотилсь облака.**

Это были мои первые чтения на людях.

Иногда я ревновал его к ним. Конечно, мне куда дороже были беседы вдвоем, без гостей, вернее его монолога, обращенные даже не ко мне, а мимо меня — к вечности, к смыслу жизни.

Порою комплекс обидчивости взбрыкивал во мне. Я восставал против кумира. Как-то он позвонил мне и сказал, что ему нравится шрифт на моей машинке, и попросил перепечатать цикл его стихотворений. Естественно! Но для детского самолюбия это показалось обидным — как, он меня за машинистку считает! Я глупо отказался, сославшись на завтрашний экзамен, что было правдою, но не причиною.



Пастернак — подросток.

Есть художники, отмеченные постоянными возрастными признаками. Так, в Бунине есть четкость ранней осени, он будто всегда сорокалетний. Пастернак же вечный подросток, неслух — «Я создан богом мучить себя, родных и тех, которых мучить грех». Лишь однажды в стихах в авторской речи он обозначил свой возраст: «Мне четырнадцать лет». Раз и навсегда.

Как застенчив до ослепления он был среди чужих, в толпе, как, напряженно бычась, нагибал шею!..

Однажды он взял меня с собой в Театр Вахтангова на премьеру «Ромео и Джульетты» в его переводе. Я сидел рядом, справа от него. Мое левое плечо, щека, ухо как бы онемели от соседства, как от анестезии. Я глядел на сцену, но все равно видел его — светящийся профиль, челку. Иногда он проборматывал текст за актером. На сцене в поединке с Тибальдом блистал Ромео — Юрий Любимов, тогда герой-любовник Театра Вахтангова, еще

не помышлявший ни о будущем театре, ни о том, что он будет ставить «Гамлета» в пастернаковском переводе и его военные стихи.

Вдруг любимовская шпага ломается, и — о чудо! — конец ее, описав баснословную параболу, падает к ручке нашего с ним общего кресла. Я нагибаюсь, поднимаю. Пастернак смеется. Но вот уже аплодисменты и вне всяких каламбуров зал скандирует: «Автора! Автора!» Смущенного поэта тащат на сцену.

Пиры были его отдохновением. Работал он галерно. Два месяца в году он работал переводы, «барскую десятину», чтобы можно потом работать на себя. Переводил он по 150 строк в сутки, говоря, что иначе непродуктивно. Корил Цветаеву, которая если переводила, то всего строк по 20 в день.

У него я познакомился также с С. Чиковани, П. Чагиным, С. Макашиным, И. Нонешвили.

Мастер языка, он не любил скабрёзностей и бытового мата. Лишь однажды я слышал от него косвенное обозначение термина. Как-то мелочные пуритане нападали на его друга за то, что тот напечатался не в том органе, где бы им хотелось. Пастернак рассказал за столом притчу про Фета. В подобной же ситуации Фет будто бы ответил: «Если бы Шмидт (кажется, так именовался самый низкопробный петербургский тогдашний сапожник) выпускал грязный листок, который назывался бы словом из трех букв, я все равно бы там печатался. Стихи очищают».

Как бережен и целомудрен был он! Как-то он дал мне пачку новых стихов, где была «Осень» с тигиановской золотой строфой — по чистоте, пронизанности чувством и изобразительности:

**Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,**

Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковой кистью.

(Первоначальный вариант:

Твое распахнутое платье,
Как рощей сброшенные листья...)

Утром он позвонил мне: «Может быть, вам показалось это чересчур откровенным? Зина говорит, что я не должен был давать вам его, говорит, что это слишком вольно...»



Поддержка его мне была в самой его жизни, которая светилась рядом. Никогда и в голову мне не могло прийти попросить о чем-то практическом — например, помочь напечататься или что-то в том же роде. Я был убежден, что в поэзию не входят по протекции. Когда я понял, что пришла пора печатать стихи, я, не говоря ему ни слова, пошел по редакциям, как все, без вспомогательных телефонных звонков прошел все предпечатные мытарства. Однажды стихи мои дошли до члена редколлегии толстого журнала. Зовет меня в кабинет. Усаживает — этакая радушная туша. Смотрит влюбленно.

— Вы сын?

— Да, но...

— Никаких «но». Сейчас уже можно. Не таитесь. Он же реабилитирован. Бывали ошибки. Каков был светоч мысли! Сейчас чай принесут. И вы как сын...

— Да, но...

— Никаких «но». Мы даем ваши стихи в номер. Нас поймут правильно. У вас рука мастера, особенно вам удаются приметы нашего атомного века — ну вот, например, вы пишете «кариатиды...». Поздравляю.

(Как я потом понял, он принял меня за сына Н. А. Вознесенского, бывшего председателя Госплана.)

— ...То е́сть как не сын? Как однофамилец? Что же вы нам голову тут морочите? Принóсите чушь всякую вредную. Не позволим. А я все думал — как у такого отца, вернее, не отца... Какого еще чаю?

Но потом как-то напечатался. Первую, пахнущую краской «Литгазету» с подборкой стихов привез ему в Переделкино.

Поэт был болен. Он был в постели. Помню склонившийся над ним скорбный осенний женский силуэт, похожий на врубелевскую майоликовую музу. Смуглая голова поэта тяжело вминалась в белую подушку. Ему дали очки. Как просиял он, как заволновался, как затрепетало его лицо! Он прочитал стихи вслух. Видно, он был рад за меня. «Значит, и мои дела не так уж плохи», — вдруг сказал он. Ему из стихов понравилось то, что было свободно по форме. «Вас, наверное, сейчас разыскивает Асеев», — пошутил он.



Асеев, пылкий Асеев со стремительным вертикальным лицом, похожим на стрельчатую арку, фанатичный, как католический проповедник, с тонкими ядовитыми губами, Асеев «Синих гусар» и «Оксаны», менестрель строек, реформатор рифмы. Он зорко парил над Москвой в своей башне на углу Горького и проезда МХАТа, годами не покидая ее, как Прометей, прикованный к телефону.

Я не встречал человека, который так беззаветно любил бы чужие стихи. Артист, инструмент вкуса, нюха, он, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку — так

он цепко оценил В. Соснору и Ю. Мориц. Его чтили Маяковский и Мандельштам. Пастернак был его пламенной любовью. Я застал, когда они уже давно разминулись. Как тяжелы размолвки между художниками! Асеев всегда влюбленно и ревниво выведывал — как там «ваш Пастернак»? Тот же говорил о нем отстраненно — «даже у Асеева и то последняя вещь холодновата». Как-то я принес ему книгу Асеева, он вернул мне ее не читая.

Асеев — катализатор атмосферы, пузырьки в шампанском поэзии.

«Вас, оказывается, величают Андрей Андреевич? Здорово как! Мы все выбивали дубль. Маяковский — Владим Владимыч, я — Николай Николаевич, Бурлюк — Давид Давидыч, Каменский — Василий Васильевич, Кручных...» — «А Борис Леонидович?» — «Исключение лишь подтверждает правило».

Асеев придумал мне кличку — Важнощенский, подарил стихи «Ваша гитара — гитана, Андрюша», в тяжелое время спас статью «Как быть с Вознесенским?», направленной против манеры критиков «читать в мыслях». Он рыцарски отражал в газетах нападки на молодых скульпторов, живописцев. В своей панораме «Маяковский начинается» он назвал в большом кругу рядом с именами Маяковского, Хлебникова, Пастернака имя Алексея Кручных.



Тут в моей рукописи запахло мышами.

Острый носик, дернувшись, заглядывает в мою рукопись. Пастернак остерегал от знакомства с ним. Он по-

явился сразу же после первой моей газетной публикации.

Он был старьевщиком литературы.

Звали его Лексей Елисеич, Кручка, но больше подошло бы ему — Курчонок.

Кожа щек его была детская, в пупырышках, всегда поросшая седой щетиной, растущей запущенными клочьями, как у плохо опаленного цыплака. Роста он был дрянного. Одевался в отрепья. Плюшкин бы рядом с ним выглядел завсегдаем модных салонов. Носик его вечно что-то вынюхивал, вышныривал — ну не рукописью, так фотографией какой разжиться. Казалось, он существовал всегда — даже не пузырь земли, нет, плесень времени, оборотень коммунальных свар, упыриных шорохов, паутинных углов. Вы думали — это слой пыли, а он, оказывается, уже час сидит в углу.

Жил он на Кировской в маленькой кладовке. Пахло мышью. Света не было. Единственное окно было до потолка завалено, загажено — рухлядью, тюками, недоеденными консервными банками, вековой пылью, куда он, как белка грибы и ягоды, прятал свои сокровища — книжный антиквариат и списки.

Бывало, к примеру, спросишь: «Алексей Елисеич, нет ли у вас первого издания «Верст»?» — «Отвернитесь», — буркнет. И в пыльное стекло шкафа словно в зеркало ты видишь, как он ловко, помолодев, вытаскивает из-под траченного молью пальто драгоценную брошюрку. Брал он копейки. Может, он уже был безумен. Он крал книги. Его приход считался дурной приметой.

Чтобы жить долго, выходил на улицу, наполнив рот теплым чаем и моченой булкой. Молчал, пока чай остывал, или мычал что-то через нос, прыгая по лужам. Скупал все. Впрок. Клеил в альбомы и продавал в архив.

Даже у меня ухитрился продать черновики, хотя я и не был музейного возраста. Гордился, когда в словаре встречалось слово «Заумник».

Он продавал рукописи Хлебникова. Долго расправлял их на столе, разглаживал как закройщик. «На сколько вам?» — деловито спрашивал. «На три червонца». И быстро, как продавец ткани в магазине, отмерив, отхватывал ножницами кусок рукописи — ровно на тридцать рублей.

В свое время он был Рембо российского футуризма. Создатель заумного языка, автор «Дыр бул щыл», он внезапно бросил писать вообще, не сумев или не желая приспособиться к наступившей поре классицизма. Когда-то и Рембо в том же возрасте так же вдруг бросил поэзию и стал торговцем. У Крученых были строки:

**Забыл повеситься
Лечу
Америку**

Образования он был отменного, страницами наизусть мог говорить из Гоголя, этого заповедного кладезя футуристов.

Как замшелый дух, вкрадчивый упырь, он тишайше проникал в вашу квартиру. Бабушка подозрительно поджимала губы. Он слезился, попрошайничал и вдруг, если соблаговолит, вдруг верещал вам свою «Весну с угощеньцем». Вещь эта, вся речь ее с редкими для русского языка звуками «х», «щ», «ю» «была отмечена весною, когда в уродстве бродит красота».

Но сначала он, понятно, отнекивается, ворчит, придуряется, хрюкает, притворяшка, трет зачем-то глаза платком допотопной девственности, похожим на промасленные концы, которыми водители протирают двигатель.

Но вот взгляд протерт — оказывается, он жемчужно-серый, синий даже! Он напрягается, подпрыгивает, как пушкинский петушок, приставляет ладонь ребром к губам, как петушиный гребешок, напрягается ладошка, и начинает. Голос у него открывается высокий, с таким неземным чистым тоном, к которому тщетно стремятся солисты теперешних поп-ансамблей.

«Ю-юйца!» — зачинает он, у вас слюнки текут, вы видите эти, как юла, крутящиеся на скатерти крашенные пасхальные яйца. «Хлюстра», — прохрюкает он вслед, подражая скользкому звону хрусталя, «Зухрр» — не унимается зазывала, и у вас тянет во рту, хрупает от сахаренной хурмы, орехов, зеленого рахат-лукума и прочих сладостей Востока, но главное — впереди. Голосом высочайшей муки и сладострастия, изнемогая, становясь на цыпочки и сложив губы как для свиста и поцелуя, он произносит на тончайшей бриллиантовой ноте: «Мизюнь, мизюнь!..» Все в этом «мизюнь» — и юные барышни с оттопыренным мизинчиком, церемонно берущие изюм из изящных вазочек, и обольстительная весенняя мелодия Мизгиря и Снегурочки, и, наконец, та самая щемящая нота российской души и жизни, нота тяги, утраченных иллюзий, что отозвалась в Лике Мизиновой и в «Доме с мезонином», — этот всей несбывшейся жизнью выдохнутый зов: «Мисюсь, где ты?»

Он замирает, не отнимая ладони от губ, как бы ожидая отзыва юности своей, — стройный, вновь сероглазый принц, вновь утренний рожок российского футуризма — Алексей Елисеевич Крученых.

Может быть, он стал барыгой, воришкой, спекулянт-том. Но одного он не продал — своей ноты в поэзии. Он просто перестал писать. Поэзия дружила лишь с его юной порой. С ней одной он остался чист и честен.

Мизюнь, где ты?



Почему поэты умирают?

Почему началась первая мировая война? Эрцгерцога хлопнули? А не шлепнули бы? А проспал бы? Не началась бы? Увы, случайностей нет, есть процессы Времени и Истории.

«Гений умирает вовремя»,— сказал его учитель Скрябин, погибший, потому что прыщик на губе сковырнул. Про Пастернака будто бы было сказано: «Не трогайте этого юродивого».

Может быть, дело в биологии духа, которая у Пастернака совпала со временем и была тому необходима?..

**В те дни — а вы их видели
И помните, в какие,—
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.**



У меня с ним был разговор о «Метели». Вы помните это? «В посадке, куда ни одна нога не ступала...» Потом строчка передвигается: «В посадке, куда ни одна...» — и так далее, создавая полное ощущение движения снежных змей, движение снега. За ней движется время.

Он сказал, что формальная задача — это «суп из топора». Потом о ней забываешь. Но «топор» должен быть. Ты ставишь себе задачу, и она выделяет что-то иное, энергию силы, которая достигает уже не задачи формы, а духа и иных задач.

Форма — это ветровой винт, закручивающий воздух, вселенную, если хотите, называйте это духом. И винт должен быть крепок, точен.

У Пастернака нет плохих стихов. Ну, может быть, де-

сяток менее удачных, но плохих — нет. Как он отличен от стихотворцев, порой входящих в литературу с одной-двумя пристойными вещами среди своего серого потока посредственных стихов. Он был прав: зачем писать худо, когда можно написать точно, то есть хорошо? И здесь дело не только в торжестве формы, как будто не жизнь, не божество, не содержание и есть форма стиха! «Книга — кубический кусок дымящейся совести», — обмолвился он когда-то. Особенно это заметно в его «Избранном». Порой некоторый читатель даже устает от духовной напряженности каждой вещи. Читать трудно, а какво писать ему было, жить этим! Такое же ощущение от Цветаевой, таков их пульс был.

В стихах его «сервиз» рифмуется с «положеньем риз». Так рифмовала жизнь — в ней все смешалось.

**В квартиру нашу были, как в компотник,
Набуханы продукты разных сфер:
Швея, студент, ответственный работник...**

В детстве наша семья из пяти человек жила в одной комнате. В остальных пяти комнатах квартиры жило еще шесть семей — семья рабочих, приехавшая с нефтепромыслов, возглавляемая языкастой Прасковьей, аристократическая рослая семья Неклюдовых из семи человек и овчарки Багиры, семья инженера Ферапонтова, пышная радушная дочь бывшего купца и разведенные муж и жена. Коммуналка наша считалась малонаселенной.

В коридоре сушились простыни.

У дровяной плиты среди кухонных баталий вздрагивали над керосинкой фамильные серьги Муси Неклюдовой. В туалете разведенный муж свистал «Баядеру», возмущая очередь. В этом мире я родился, был счастлив и иного не представлял.

Сам он до тридцать шестого года, до двухэтажной квартиры в Лаврушинском, жил в коммуналке. Ванную комнату занимала отдельная семья, ночью, идя в туалет, шагали через спящих.

Ах, как сочно рифмуется керосиновый свет «ламп Светлана» с «годами строительного плана»!



Все это было в его небольшой изумрудной тетрадке стихов с багровой шнуровкой. Все его вещи той поры были перепечатаны Мариной Казимировной Баранович, прокуренным ангелом его рукописей. Жила она около Консерватории, бегала на все скрябинские программы, и как дыхание клавиш отличает рихтеровского Скрябина от нейгаузовского, так и клавиатура ее машинки имела свой неповторимый почерк. Она переплетала стихи в глянцевые оранжевые, изумрудные и крапlachно-красные тетрадки и прошивала их шелковым шнурком. Откроем эту тетрадь, мой читатель. В ней колдовало детство.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье...

А в городе на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки...

Видите ли вы, мой читатель, мальчика со школьным ранцем, следящего обряд весны, ее предчувствие? Все, что совершается вокруг, так похоже на происходящее внутри него.

**И взгляд их ужасом сбьют.
Понятка их тревога.
Сады выходят из оград...**

Такая рань, такое ошеломленное ощущение детства, память гимназиста предреволюционной Москвы, когда все полно тайны, когда за каждым углом подстерегает чудо, деревья одушевлены и ты причастен к вербной ворожке. Какое ощущение детства человечества на грани язычества и предвкушения уже иных истин!

Стихи эти, написанные от руки, он дал мне вместе с другими, сброшюрованными этой же багровой шелковой шнуровкой. Все в них околдовывало. В нем тогда царствовала осень:

**Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.**

В ту пору я мечтал попасть в Архитектурный, ходил в рисовальные классы, акварелил, был весь во власти таинства живописи. В Москве тогда гостила Дрезденская галерея. Прежде чем возвратиться в Дрезден, ее выставили в Музее имени Пушкина. Волхонка была запружена. Любимицей зрителей стала «Сикстинская мадонна».

Помню, как столбенел я в зале среди толпы перед парящим абрисом. Темный фон за фигурой состоит из многих слившихся ангелков, зритель не сразу замечает их. Сотни зрительских лиц, как в зеркале, отражались в темном стекле картины. Вы видели и очертания мадонны, и рожицы ангелов, и накладывающиеся на них внимательные лица публики. Лица москвичей входили в картину, заполняли ее, сливались, становились частью шедевра.

Никогда, наверное, «Мадонна» не видела такой толпы. «Сикстинка» соперничала с масскультурой. Вместе с нею

прелестная «Шоколадница» с подноси́ком, выпорхнув из постели, на клеенках и репродукциях обежала города и веси нашей страны. «Пьяный силён!» — восхищенно выдохнул за моей спиной посетитель выставки. Под картиной было написано: «Пьяный Силен».

Москва была потрясена духовной и живописной мощью Рембрандта, Кранаха, Вермейера. «Блудный сын», «Тайная вечеря» входили в повседневный обиход. Мирская живопись и с нею духовная мощь ее понятий одновременно распахнулись сотням тысяч москвичей.

Стихи Пастернака из тетради с шелковым шнурком говорили о том же, о тех же вечных темах — о человечности, откровении, жизни, покаянии, смерти, самоотдаче.

**Все мысли веков, все мечты, все миры.
Все будущее галерей и музеев...**

Теми же великими вопросами мучились Микеланджело, Врубель, Матисс, Нестеров, беря для своих полотен метафоры Старого и Нового завета. Как и у них, решение этих тем в стихах отнюдь не было модернистским, как у Сальватора Дали, скажем. Мастер работал суровой кистью реалиста, в классически сдержанной гамме. Как и Брейгель, рождественское пространство которого заселено голландскими крестьянами, поэт свои фрески заполнил предметами окружавшего его быта и обихода.

Какая русская, московская даже, чистопрудная, у него Магдалина, омывающая из ведерка стопы возлюбленного тела!

**На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.**

Мне всегда его Магдалина виделась русоволосой, блондинкой по-нашему, с прямыми рассыпчатыми волосами до локтей.

**Нас отбрасывала в детство
Белокурая копна...**

А какой вещий знаток женского сердца написал следующую строфу:

**Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.**

Какой выстраданный вздох метафоры! Какая восхищенная печаль в ней, боль расставания, понимание людского несовершенства в разумении жеста мироздания, какая гордость за высокое предназначение близкого человека и одновременно обмолвившаяся, проговорившаяся, выдавшая себя женская ревность к тому, кто раздаст себя людям, а не только ей, ей одной...

Художник пишет жизнь, пишет окружающих, ближних своих, лишь через них постигая смысл мироздания. Сангиной, материалом для письма служит ему своя жизнь, единственное свое существование, опыт, поступки — другого материала он не имеет.



Из всех черт, источников и загадок Пастернака детство — серьезнейшая.

**О детство! Ковш душевной глубин
О всех лесов абориген.
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регент!..**

И «Сестра моя — жизнь» и «Девятьсот пятый год» — это прежде всего безоглядная первичность чувства, исповедь детства, бунт, ощущение мира в первый раз. Как ребенка, вырвавшегося из-под опеки взрослых, он любил Лермонтова, посвятил ему лучшую свою книгу.

Уместно говорить о стиховом потоке его жизни.

В нем, этом стиховом потоке, сказанное однажды не раз повторяется, обретает второе рождение, вновь и вновь аukaется детство, сквозь суровые фрески проступают цитаты из его прежних стихов.

**Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары...**

Сравните это с живописным кружащимся ритмом его «Вальса с чертовщиной» или «Вальса со слезой», этих задышающихся хороводов ребячьей поры:

**Великолепие выше сил
Туши и сепии и белил...
Финики, книги, игры, нуга.
Иглы, ковриги, скачки, бега.
В этой зловещей сладкой тайге
Люди и вещи на равной ноге.**

Помню встречу Нового года у него на Лаврушинском. Пастернак сиял среди гостей. Он был и елкой и ребенком одновременно. Хвойным треугольником сдвигались брови Нейгауза. Старший сын Женя, еще храня офицерскую стройность, выходил, как из зеркала, из стенного портрета кисти его матери, художницы Е. Пастернак.

Квартира имела выход на крышу, к звездам. Опасаться можно было всякого: кинжал на стене предназначался не только для украшения, но и для самозащиты.

Стихи сохраняли вещное и вещее головокружительное таинство праздника, скрябинский прелюдный фейерверк.

**Лампы задули, сдвинули стулья...
Масок и ряженных движется улей...
Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей...**

**И возникающий в форточной раме
Дух сквозняка, задувающий пламя...**

Дней рождения своих он не признавал. Считал их датами траура. Запрещал поздравлять. Я исхитрялся приносить ему цветы накануне или днем позже — 9-го или 11-го, не нарушая буквы запрета. Хотел хоть чем-то утешить его.

Я приносил ему белые и алые цикламены, а иногда лиловые столбцы гиацинтов. Они дрожали, как резные — в крестиках — бокалы лилового хрусталя. В институте меня хватало на живой куст сирени в горшке. Как счастлив был, как сиял Пастернак, раздев бумагу, увидев стройный куст в белых гроздьях. Он обожал сирень и прощал мне ежегодную хитрость.

И наконец, каков был ужас моих родителей, когда я, обезьяня, отказался от своего дня рождения и подарков, спокойно заявив, что считаю этот день траурным и что жизнь не сложилась.

**...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары...**

Наивно, когда пытаются заслонить поздней манерой Пастернака вещи его раннего и зрелого периода. Наивно, когда, восхищаясь просветленным Заболоцким, зачеркивают «Столбцы». Но без них невозможен аметистовый звон его «Можжевельного куста». Одно прорастает из другого. Без стогов «Степи» мы не имели бы стогов «Рождественской звезды».



Не раз в стихах той поры он обращается к образу смоковницы. На память приходит пастернаковский набросок, посвященный Лили Харазовой, погибшей в 20-е

годы от тифа. Он есть в архиве грузинского критика Г. Маргвелашвили.

«Под посредственностью обычно понимают людей рядовых и обыкновенных. Между тем обыкновенность есть живое качество, идущее изнутри и во многом, как это ни странно, отдаленно подобное дарованию. Всего обыкновеннее люди гениальные... И еще обыкновеннее, захватывающе обыкновенна — природа. Необыкновенна только посредственность, то есть та категория людей, которую составляет так называемый «интересный человек». С древнейших времен он гнушался делом и паразитировал на гениальности, понимая ее как какую-то лестную исключительность, между тем как гениальность есть предельная и порывистая, воодушевленная собственной бесконечностью правильность».

Позже он повторил это в своей речи на пленуме Правления СП в Минске в 1936 году.

Вы слышите? «Как захватывающе обыкновенна — природа». Как обыкновенен он был в своей жизни, как истинно соловьино интеллигентен в противовес пустотности, нетворческому купеческому выламыванию — скромно одетый, скромно живший, незаметно, как соловей.

Люди пошлые не понимают жизни и поступков поэта, истолковывая их в низкоземном, чаще своекорыстном значении. Они подставляют понятные им категории — желание стать известнее, нажиться, насолить собрату. Между тем как единственное, о чем печалится и молит судьбу поэт, это не потерять способности писать, то есть чувствовать, способности слиться с музыкой мироздания. Этим никто не может наградить, никто не может лишить этого.

Она, эта способность, нужна поэту не как источник

успеха или благополучия и не как вождение пером по бумаге, а как единственная связь его с мирозданием, мировым духом — как выразились бы раньше, единственный сигнал туда и оттуда, объективный знак того, что его жизнь, ее земной отрезок, идет правильно.

**В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова!**

Путь не всегда понятен самому поэту. Он прислушивается к высшим позывным, которые, как летчику, диктуют ему маршрут. Я не пытаюсь ничего истолковывать в его пути: просто пишу, что видел, как читалось написанное им.

**Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды...**

Тпр-р! Ну, вот и запруда. Приехали. И берег пруда. И ели сваленной бревно. Это все биография его чудотворства.

А о гнездах грачей у него можно диссертацию писать. Это мета мастера. «Где как обугленные груши на ветках тысячи грачей» — это «Начальная пора». А гениальная графика военных лет:

**И летят грачей девятки,
Черные девятки треф.**

И вот сейчас любимые грачи его с подмосковных раки, вспорхнув, перелетели в черно-коричневые кроны классического пейзажа. И свили свои переделкинские гнезда там.



Ставил ли он мне голос?

Он просто говорил, что ему нравилось и почему. Так, например, он долго пояснял мне смысл строки: «Вас за плечи держали ручищи эполетов». Помимо точности образа он хотел от стихов дыхания, напряжения времени, сверхзадачи, того, что он называл «сила». Долгое время никто из современников не существовал для меня. Смешны были градации между ними. Он — и все остальные.

Сам же он чтит Заболоцкого. Будучи членом Правления СП, он спас в свое время от разноса «Страну Муравью». Твардовского он считал крупнейшим поэтом, чем отучил меня от школьного нигилизма.

Трудно было не попасть в его силовое поле.

Однажды после студенческих военных летних лагерей я принес ему тетрадь новых стихов. Тогда он готовил свое «Избранное». Он переделывал стихи, ополчался против ранней своей раскованной манеры, отбирал лишь то, что ему теперь было близко.

Про мои стихи он сказал: «Здесь есть раскованность и образность, но они по эту сторону грани, если бы они были моими, я бы включил их в свой сборник».

Я просял.

Сам Пастернак взял бы их! А пришел домой — решил бросить писать. Ведь он бы взял их в свой, значит, они не мои, а его. Два года не писал. Потом пошли «Гойя» и другие, уже мои. «Гойю» много ругали, было несколько разносных статей. Самым мягким ярлыком был «формализм».

Для меня же «Гойя» звучало — «война».



В эвакуации мы жили за Уралом.

Хозяин дома, который пустил нас, Константин Харитонович, машинист на пенсии, сухонький, шустрый, застенчивый, когда выпьет, некогда увез у своего брата жену, необъятную сибирячку Анну Ивановну. Поэтому они и жили в глуши, так и не расписавшись, опасаясь грозного мстителя.

Жилось нам туго. Все, что привезли, сменяли на продукты. Отец был в ленинградской блокаде. Говорили, что он ранен. Мать, приходя с работы, плакала. И вдруг отец возвращается — худющий, небритый, в черной гимнастерке и с брезентовым рюкзаком.

Хозяин, торжественный и смущенный более обычного, поднес на подносе два стаканчика с водкой и два ломтика черного хлеба с белыми квадратиками нарезанного сала — «со спасеньцем». Отец хлопнул водку, обтер губы тыльной стороной ладони, поблагодарствовал, а сало отдал нам.

Потом мы пошли смотреть, что в рюкзаке. Там была тускло-желтая банка американской тушенки и книга художника под названием «Гойя».

Я ничего об этом художнике не знал. Но в книге расстреливали партизан, мотались тела повешенных, корчилась война. Об этом же ежедневно говорил на кухне черный бумажный репродуктор. Отец с этой книгой летел через линию фронта. Все это связалось в одно страшное имя — Гойя.

Гойя — так гудели эвакуационные поезда великого переселения народа. Гойя — так стонали сирены и бомбы перед нашим отъездом из Москвы, Гойя — так выли волки за деревней, Гойя — так причитала соседка, получив похоронку, Гойя...

Эта музыка памяти записалась в стихи, первые мои стихи. Сигнал первой моей книжки я привез ему в день похорон.

Из-за перелома ноги Пастернак не участвовал в войнах. Но добровольно ездил на фронт, был потрясен народной стихией тех лет. Хотел написать пьесу о Зое Космодемьянской, о школьнице и стихии войны.

**И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей...**

Отношение к женщине у него было и мужским и юношеским одновременно. Такое же отношение у него было к Грузии.

Он собирал материал для романа о Грузии с героиней Ниной, периода первых христиан, когда поклонение богу Луны органически переходило в обряды новой культуры.

Как чувственны и природны грузинские обряды! По преданию, святая Нина, чтобы изготовить первый крест, сложила крест-накрест две виноградные лозы и перевязала их своими длинными срезанными волосами.

В нем самом пантеистическая культура ранней поры переходила в строгую духовность поздней культуры. Как и в жизни, эти две культуры соседствовали в нем.

Несколько раз, спохватившись, я пробовал начинать дневник. Но каждый раз при моей неорганизованности меня хватало ненадолго. До сих пор себе не могу простить этого. Да и эти скоропалительные записи пропали в суматохе постоянных переездов. Недавно мои домашние, разбираясь в хламе бумаг, нашли тетрадку с дневником нескольких дней.

Чтобы хоть как-то передать волнение его голоса, поток его живой ежедневной речи, приведу наугад несколько кусков его монологов, как я записал их тогда в моем юношеском дневнике, ничего не исправляя, опустив лишь детали личного плана. Говорил он навзрыд.



Вот он говорит 18 августа пятьдесят третьего года на скамейке в скверике у Третьяковки. Я вернулся тогда после летней практики, и он в первый раз прочитал мне «Белую ночь», «Август», «Сказку» — все вещи этого цикла.

— Вы долго ждете? — я ехал из другого района — такси не было — вот «пикапчик» подвез — расскажу о себе — вы знаете я в Переделкине рано — весна ранняя бурная странная — деревья еще не имеют листьев а уже расцвели — соловьи начали — это кажется банально — но мне захотелось как-то по-своему об этом рассказать — и вот несколько набросков — правда это еще слишком сухо — как карандашом твердым — но потом надо переписать заново — и Гёте — было в «Фаусте» несколько мест таких непонятных мне склерозных — идет идет кровь потом деревенеет — закупорка — кх-кх — и оборвется — таких мест восемь в «Фаусте» — и вдруг летом все открылось — единым потоком — как раньше когда «Сестра моя — жизнь» «Второе рождение» «Охранная грамота» — ночью вставал — ощущение силы — даже здоровый никогда бы не поверил что можно так работать — пошли стихи — правда Марина Казимировна говорит что нельзя после инфаркта — а другие говорят это как лекарство — ну вы не волнуйтесь — я вам почитаю — слушайте —

А вот телефонный разговор через неделю:

— Мне мысль пришла — может быть в переводе Пастернак лучше звучит — второстепенное уничтожается переводом — «Сестра моя — жизнь» первый крик — вдруг как будто сорвало крышу — заговорили камни — вещи приобрели символичность — тогда не все понимали сущность этих стихов — теперь вещи называются своими именами — так вот о переводах — раньше когда я писал и были у меня сложные рифмы и ритмика — переводы не удавались — они были плохие — в переводах не нужна сила форм — легкость нужна — чтобы донести смысл — содержание — почему слабым считался перевод Холодковского — потому что привыкли что этой формой писались плохие и переводные и оригинальные вещи — мой перевод естественный — как прекрасно издан «Фауст» — обычно книги кричат — я клей! — я бумага! — я нитка! — а здесь все идеально — прекрасные иллюстрации Гончарова — вам ее подарю — надпись уже готова — как ваш проект? — пришло письмо от Завадского — хочет «Фауста» ставить —

— Теперь честно скажите — «Разлука» хуже других? — нет? — я заслуживаю вашего хорошего отношения но скажите прямо — ну да в «Спекторском» то же самое — ведь революция та же была — вот тут Стасик — он приехал с женой — у него бессонница и что-то с желудком — а «Сказка» вам не напоминает чуковского крокодила?

— Хочу написать стихи о русских провинциальных городах — типа навязчивого мотива «города» и «баллад» — свет из окна на снег — встают и так далее — рифмы такие де ла рю — получится очень хорошо — сейчас много пишу — вчерне все — потом буду отделять — так как в самые времена подъема — поддразнивая себя прелестью отделанных кусков —

Насколько знаю, стихи эти так и не были написаны.

Часто в выборе вариантов он полагался на случай, наобум советовался. Любил приводить в пример Шопена, который, запутавшись в вариантах, проигрывал их своей кухарке и оставлял тот, который ей нравился. Он апеллировал к случаю.

Кого-то из его друзей смутила двойная метафора в строфе:

**И как сплавляют по реке плоты...
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты.**

Он исправил: «...неустанно столетия поплывут из темноты»...

Я просил его оставить первоизданное. Видно, он и сам был склонен к этому,— он восстановил строку. Уговорить сделать что-то против его воли было невозможно.

Стихи «Свадьба» были написаны им в Переделкине. Со второго этажа своей башни он слышал частушечный перебор, донесшийся из сторожки. В стихи он привнес черты городского пейзажа.

**Гости, дружки, шафера
С ночи на гулянку
В дом невесты до утра
Забрели с тальянкой...
Сваха павой проплыла,
Поводя боками...**

На другой день он позвонил мне. «Так вот, я Анне Андреевне объяснял, как зарождаются стихи. Меня разбудила свадьба. Я знал, что это что-то хорошее, мысленно перенесся туда, к ним, а утром действительно оказалась — свадьба» (цитирую по дневнику). Он спросил, что я думаю о стихах. В них плеснулась свежесть сизого

утра, молодость ритма. Но мне, студенту 50-х, казались чужими, архаичными слова «сваха», «дружки»; «шафера» аукались с «шоферами». Вероятно, я лишь подтвердил его собственные сомнения. Он по телефону продиктовал мне другой вариант. «Теперь насчет того, что вы говорите — старомодно. Записывайте. Нет, погодите, мы и сваху сейчас уберем. В смысле шаферов даже лучше станет; так как место конкретнее обозначится: «Пересекши глубь двора...»

Может быть, он импровизировал по телефону, может быть, вспомнил черновой вариант. В таком виде эти стихи и были напечатаны. Помню, у редактора вызвала опасения строка: «Жизнь ведь тоже только миг... только сон...» Теперь это кажется невероятным.



В первую нашу встречу он дал мне билет в ВТО, где ему предстояло читать перевод «Фауста». Это было его последнее публичное чтение.

Сначала он стоял в группе, окруженный темными костюмами и платьями, его серый проглядывал сквозь них, как смущенный просвет северного неба сквозь стволы деревьев. Его выдавало сиянье.

Потом стремительно сел к столу. Председательствовал М. М. Морозов, тучный, выросший из серовского курчавого мальчугана,— Мика Морозов. Пастернак читал сидя, в очках. Замирали золотые локоны поклонниц. Кто-то конспектировал. Кто-то выкрикнул с места, прося прочесть «Кухню ведьм», где, как известно, в перевод были введены подлинные тексты колдовских наговоров. В Веймаре в архиве можно видеть, как масон и мыслитель Гёте изучал труды по кабалистике, алхимии и черной магии.

Пастернак отказался читать «Кухню». Он читал места пронзительные.

Им не услышать следующих песен,
Кому я предыдущие читал...
Непосвященных голос легковесен,
И, признаюсь, мне страшно их похвал,
А прежние ценители и судьи
Рассеялись, кто где, среди безлюдья.

Его скулы поддрагивали, словно треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом.

Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор.
Найдется ль наконец вам воплощенье,
Или остыл мой молодой задор!..
Ловлю дыханье ваше грудью всею
И возле вас душою молодею.

По мере того как читал он, все более и более просвечивал сквозь его лицо профиль ранней поры, каким его изобразил Кирнарский. Проступали сила, порыв, решительность и воля мастера, обрекшего себя на жизнь заново, перед которой опешил даже Мефистофель — или как его там? — «царь тьмы, Воланд, повелитель времени, царь мышей, мух, жаб».

Вы воскресили прошлого картины,
Былые дни, былые вечера.
Вдали всплывает сказкою старинной
Любви и дружбы первая пора.
Пронизанный до самой сердцевины
Тоской тех лет и жаждою добра...

Ну да, да, ему хочется дойти до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины.

И я прикован силой небывалой
К тем образам, нахлынувшим извне,

Эсловою арфой прорыдало
Начало строф, родившихся вчерне.

Это о себе он читал, поэтому и увлек его «Фауст» — не для заработка же одного он переводил, и не для известности: он искал ключ ко времени, к возрасту, это он о себе писал, к себе прорывался, и Маргарита была его, этим он мучился, время хотел обновить, главное начиналось, «когда он — Фауст, когда — фантаст»...

Тогда верни мне возраст дивный,
Когда все было впереди
И вереницей непрерывной
Теснились песни на груди,—

недоуменно и требовательно прогудел он репризу Поэта.

Думаю, если бы ему был дан фаустовский выбор, он начал бы второй раз не с двадцатилетнего возраста, а опять четырнадцатилетним. Впрочем, никогда он им быть и не переставал.

«Вот и все»,— очнулся он, запахнув рукопись. Обсуждения не было. Он виновато, как бы оправдываясь, развел руками, потому что его уже куда-то тащили, вниз, верно в ресторан. Шторки лифта захлопнули светлую полоску неба.



В Веймаре, на родине Гёте, находящийся на возвышенности крупный объем гётевского дворца неизъяснимой тайной композиции связан с крохотным вертикальным объемом домика его юности, который как садовая статуэтка стоит один в низине, в отдалении. В половодье воды иногда подступают к нему. Своей сердечной тягой большой дворец обращен к малому. Этот мировой закон притяжения достиг заповедной своей точки в компо-

зиции белого ансамбля большого Владимирского собора и находящейся в низине вертикальной жемчужины на Нерли. Когда проходишь между ними, тебя как бы пронизывают светлые токи обоюдной любви этих белоснежных шедевров, обращенных друг к другу — большого к малому.

**Море мечтает о чем-нибудь махоньком,
Вроде как сделаться птичкой колибри...**

Так же гигантский серый массив дома в Лаврушинском был сердечно обращен к переделкинской даче.

Через несколько лет полный перевод «Фауста» вышел в Гослите. Он подарил мне этот тяжелый вишневый том. Подписывал он книги несуетно, а обдумав, чаще на следующий день. Вы сутки умирали от ожидания. И какой щедрый новогодний подарок ожидал вас назавтра, какое понимание другого сердца, какой аванс на жизнь, на вырост. Какие-то слова были стерты резинкой и переписаны сверху. Он написал на «Фаусте»: «Второе января 1957 года, на память о нашей встрече у нас дома 1-го января. Андрюша, то, что Вы так одарены и тонки, то, что Ваше понимание вековой преемственности счастья, называемой искусством, Ваши мысли, Ваши вкусы, Ваши движения и пожелания так часто совпадают с моими,— большая радость и поддержка мне. Верю в Вас, в Ваше будущее. Обнимаю Вас — Ваш Б. Пастернак».

Ровно десять лет до этого, в январе 1947 года, он подарил мне первую свою книгу. Надпись эта была для меня самым щедрым подарком судьбы. Я знал его 14 лет. Сколько раз слова эти подымали и спасали меня, и какая горечь, боль всегда ощущается за этими словами.



В поздних стихах его все больше становится живописи, пахнет краской — охрой, сепией, белилами, сангиной, — его тянет к запахам, окружавшим когда-то его в отцовской студии, тянет туда, где

Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще — школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху
Мастерская отца...

Он окантовывает работы отца, развешивает их по стенам дома, причем именно иллюстрации к «Воскресению», именно Катюшу и Нехлюдова — ему так близка идея начать новую жизнь. Он будто хочет вернуться в детство, все начать набело, сначала, задумал переписать заново весь сборник «Сестра моя — жизнь», он говорит, что точно помнит ощущения той поры, давшие импульсы к каждому стихотворению, переделывает несколько раз вещи тридцатилетней давности, не стихи перекраивает — жизнь свою хочет переделать. Поэзию от жизни он никогда не отделял.

Мне четырнадцать лет...

Где столетняя пыль на Диане
и холсты...

В классах яблоку негде упасть...

Он одобрял мое решение поступить в Архитектурный, не очень-то жалуя околосредовую среду. Архитектурный находился именно там, где был когда-то Вхутемас, а наша будущая мастерская, которая потом сгоре-

ла, помещалась именно «в том крыле, где рабфак» и где «наверху мастерская отца»...

Брат его Александр Леонидович преподавал конструкции в нашем институте.

Я рассказывал ему об институте. Мы все были ошеломлены импрессионистами и новой живописью, залы которой после многолетнего перерыва открылись в Музее имени Пушкина. Это совпадало с его ощущением от открытия щукинского собрания, когда он учился. Кумиром моей юности был Пикассо. Замирая, мы смотрели документальный фильм Клузо, где полуголый мэтр фломастером скрещивал листья с голубями и лицами. Думал ли я, сидя в темной аудитории, что через десять лет буду читать свои стихи Пикассо, буду в его мастерской и что напророчат мне на его подрамниках взбесившийся лысый шар и вскинутые над ним черные треугольники локтей?..

«Как ваш проект?» — записан у меня в дневнике пастернаковский вопрос. Расспрашивая о моем житье-бытье, он как бы возвращался туда, к началу начал.

Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра...

Окликая детские свои музыкальные сочинения, как бы вспомнив сказанные ему Скрябиным слова о вреде импровизации, он возвращается к своей ранней «Импровизации», вы помните?

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.
И было темно. И это был пруд

**И волны.— И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.**

Может быть, как в его щемящем «пью горечь тубероз», в музыке этой, в этом «люблю вас» ему послышалась северянинская мелодия? Он молодец, когда говорил о Северянине. Рассказывал, как они юными, с Бобровым кажется, пришли брать автограф к Северянину. Их попросили подождать в комнате. На диване лежала книга лицом вниз. Что читает мэтр? Рискнули перевернуть. Оказалось — «Правила хорошего тона».

Много лет спустя директор игорного дома «Цезарь Палас» в Лас-Вегасе, рослый выходец из Эстонии, коротко знавший Северянина, покажет мне тетрадь стихов, исписанную фиолетовым выцветшим почерком Северянина, с дрожащим нажимом, таким нелепо трепетным в век шариковых авторучек.

**Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!**

Расплывшаяся, дрогнувшая буква «х», когда-то прихлопнутая страницами, выцвела, похожая на засушенный между листьями лиловато-прозрачный крестик сирени, увы, опять не пятипалый...

Вышедший недавно томик Северянина не особенно удачен. В нем смикширована как вызывающая безвкусица, так и яркий характер, лиризм поэта, музыкально отзывавшийся даже в ранних Маяковском и Пастернаке, не говоря уж о Багрицком и Сельвинском.

Поздний Пастернак много работал над чистотой стиля.

В одном из своих прежних стихов он сменил «манто» на «пальто». Он переписал и «Импровизацию». Теперь она называлась «Импровизация на рояле».

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и гогот.
Казалось,— все знают, казалось,— все могут
Кричавших кругом лебедей вожаки.
И было темно, и это был пруд
И волны; и птиц из семьи горделивой,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливо дробившиеся переливы.

Как по-новому мощно! Стало строже по вкусу. Но что-то ушло. Может быть, художник не имеет права собственности над созданными вещами? Что, если бы Микеланджело все время исправлял своего Давида в соответствии со все совершенствующимся своим вкусом?

Художники часто отшатываются от созданного ими, считая прошлое свое греховным, ошибочным. Это говорит о силе духа, но ни в коем случае не может отменить созданий. Так было с Толстым. Такова аскеза позднего Заболоцкого. Возраст жаждет второго рождения. В 1889 году, получив приглашение участвовать в выставке «Сто лет французского изобразительного искусства», Ренуар ответил: «Я объясню вам одну простую вещь: все, что я сделал до сих пор, я считаю плохим, и мне было бы чрезвычайно неприятно увидеть все это на выставке». Этим «плохим» казались ему и зелено-розовая Самари, и жемчужная спина Анны, и «Качели»,— то есть «весь Ренуар»,— к счастью, он не мог уже ни уничтожить их, ни переписать в «энгровской» или новой красно-коричневой манере.

Пастернак пытался побороть прошлого Пастернака— «с самим собой, самим собой».

Жаль и знаменитой изруганной строки. Она стала притчей во языцех:

Это — сладкий заглохший горох,
Это — слезы вселенной в лопатках...

Лопатками в давней Москве называли стручки гороха. Наверное, это сведение можно было бы оставить в комментариях, как сведение о пушкинском брежете. Но, видно, критические претензии извели его, и под конец жизни строка была исправлена:

Это — слезы в стручках и лопатках...

Он был тысячу раз прав. Но что-то ушло. «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно». Невозвратно жаль ушедших строк, как, может быть, глупо, но жаль некоторых исчезнувших староарбатских переулков.

Вообще в его работе было много от Москвы с ее улицами, домами, мостовыми, которые вечно перестраиваются, перекраиваются, всегда в лесах.

Пастернак очень московский поэт. В нем запутанность переулков, замоскворецких, чистопрудных проходных дворов, Воробьевых гор, их язык, этот быт, эти фортки, городские липы, эта московская манера ходить — «как всегда нараспашку пальтецо и кашне на груди».

**В московские особняки
Врывается весна нахрапом...**

Москва вся как бы нарисована от руки, полна живой линии, языкового просторечья, вольного смешения стилей, ампира уживается рядом с ропетовским модерном и архаикой конструктивизма (восемьсот лет, а все — подросток!), да и дома в ней как-то не строятся, а зарастают кварталы, как разросшиеся деревья или кустарники.

В отличие от северной Пальмиры, которая вся чудодейственно образована по линейке и циркулю, с ее постоянством геометра, классицизмом, — московская шко-

ла культуры, как и образа жизни, стихийнее, размахистей, идет от византийской орнаментальности и близка к самой живой стихии языка.

**Все дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам
В боярской золоченой горнице
И на Василии Блаженном.**

Мэтром его был Андрей Белый — москвич по духу и художественному мышлению. Особенно он ценил сборник «Пепел». Он объяснял мне как-то, что жалеет, что разминулся с Блоком, ибо тот был в Петрограде. Впрочем, деление на поэтов московских и петербургских условно, так, например, в «Двенадцати» Блока уже гуляет «московская» струя. Детская тяга к Блоку сказывалась и в пастернаковском определении поэта. Он сравнивает его с елкой, горящей через замороженное узорами окно. Так и видишь мальчика, с улицы глядящего на елку сквозь морозное стекло...

**Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Стаями
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.**



Мы шли с ним от Дома ученых через Лебяжий и мосты к Лаврушинскому. Шел ледоход. Он говорил всю дорогу о Толстом, об уходе, о чеховских мальчиках, о случайности и предопределенности жизни. Его шуба была распахнута, сбилась набок его серая каракулевая шапка-пирожок, нет, я спутал, это у отца была серая, у него был черный каракуль,— так вот он шел легкой

летающей походкой опытного ходока, распахнутый, как март в его стихотворении, как Москва вокруг. В воздухе была талая слабость снега, предвкушение перемен.

Как не в своем рассудке,
Как дети ослушанья...

Прохожие, оборачиваясь, принимали его за пьяного. «Надо терять,— он говорил.— Надо терять, чтобы в жизни был вакуум. У меня только треть сделанного сохранилась. Остальное погибло при переездах. Жалеть не надо...» Я напомнил ему, что у Блока в записях есть место о том, что надо терять. Это когда поэт говорил о библиотеке, сгоревшей в Шахматове. «Разве? — изумился он.— Я и не знал. Значит, я прав вдвойне».

Мы шли проходными дворами.

У подъездов на солнышке млели бабушки, кошки и блатные. Потягивались после ночных трудов. Они провозжали нас затуманенным благостным взглядом.

О эти дворы Замоскворечья послевоенной поры! Если бы меня спросили: «Кто воспитал ваше детство помимо дома?» — я бы ответил: «Двор и Пастернак».

4-й Щипковский переулочек! О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральные жосточки, майских жуков — тогда на земле еще жили такие существа. Стук консервных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сливался с визгом «Рио-риты» из окон и стертой, соскальзывавшей лещенковской «Муркой», записанной на рентгенокостях.

Двор был котлом, клубом, общиной, судилищем, голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора, огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. Мы знали все. У подъезда стоял Шнобель. Он сегодня геройски обварил руку кипятком, чтобы по-

лучить бюллетень на неделю. Супермен, он только стиснул зубы, окруженный почитателями, и поливал мочой на вспухшую пунцовую руку. По новым желтым прохорям на братанах Д. можно было догадаться о том, кто грабанул магазин на Мытной.

Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны было много оружия, гранат, патронов. Их, как грибы, собирали в подмосковных лесах. В подъездах старшие тренировались в стрельбе через подкладку пальто.

Где вы теперь, кумиры нашего двора — Фикса, Волыдя, Шка, небрежные рыцари малокозырок? Увы, увы...

Иногда сквозь двор проходил Андрей Тарковский, мой товарищ по классу. Мы знали, что он сын писателя, но не знали, что сын замечательного поэта и сына будущего отца знаменитого режиссера. Семья их бедствовала. Он где-то раздобыл оранжевый пиджак с рукавами не по росту и зеленую широкополую шляпу. Так появился первый стилига в нашем дворе. Он был единственным цветным пятном в серой гамме тех будней.

Лифты не работали. Главной забавой детства было, открыв шахту, пролететь с шестого этажа по стальному крученому тросу, обернув руки тряпкой или старой варежкой. Сжимая со всех сил или слегка отпустив трос, вы могли регулировать скорость движения. В тросе были стальные заусенцы. На финише варежка стиралась, дымилась и тлела от трения. Никто не разбивался.

Игра называлась «жосточка». Медную монету объявляли тряпицей, перевязывали ниткой сверху, оставляя торчащий султанчик — как завертывается в бумажку трюфель. «Жосточку» подкидывали внутренней стороной ноги, «щечкой». Она падала грязным грузиком вниз. Чемпион двора ухитрялся доходить до 160 раз. Он был кривоног и имел ступню, подвернутую вовнутрь. Мы ему завидовали.

О, незабвенные жосточки — трюфели военной поры!.. Шиком старших были золотые коронки — «фиксы», которые ставились на здоровые зубы, а то и зашитые под кожу жемчужины. Мы же довольствовались наколками, сделанными чернильным пером.

Приводы в милицию за езду на подножках были обычным явлением. Родители целый день находились на работе. Местами наших сборищ служили чердак и крыша. Оттуда было видно всю Москву, и оттуда было удобно бросить патрон с гвоздиком, подвязанным под капсюль. Ударившись о тротуар, сооружение взрывалось. Туда и принес мне мой старший друг Жирик первую для меня зеленую книгу Пастернака.

Пастернак внимал моим сообщениям об эпопеях двора с восхищенным лицом сообщника. Он был жаден до жизни в любых ее проявлениях.

Сейчас понятие двора изменилось. Исчезло понятие общности, соседи не знают друг друга по именам даже. Недавно, наехав, я не узнал Щипковского. Наши святыни — забор и помойка — исчезли. На скамейке гитарная группа подбирала что-то. Уж не «Свечу» ли, что горела на столе?..

Так же благодаря изящной мелодии впорхнуло в быт страны цветаевское: «Мне нравится, что вы больны не мной».



Когда-то говоря в журнале «Иностранная литература» о переводах Пастернака и слитности культур, я целиком процитировал его «Гамлета». Не то машинистка ошиблась, не то наборщик, не то «Аве, Оза» повлияло, но в результате опечатки «авва отче» предстало с ла-

тинским акцентом как «аве, отче». С запозданием восстанавливаю правильность текста:

Если только можно, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси...

Эта нота как эхо отзывается в соседнем стихотворении:

Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил Отца.

Недавно тбилисский Музей Дружбы народов приобрел архив Пастернака. С волнением, как старого знакомого, я встретил первоначальный вариант «Гамлета», заученный мной по изумрудной тетрадке. В том же архиве я увидел под исходным номером мое детское письмо Пастернаку. В двух строфах «Гамлета» уже угадывается гул, предчувствие судьбы.

Вот я весь. Я вышел на подмости,
Прислонясь к дверному косяку.
Я ловлю в далеком отголоске
То, что будет на моем веку.
Это шум вдали идущих действий.
Я играю в них во всех пяти.
Я один. Все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Поле соседствовало с его переделкинскими прогулками.

В часы стихов и раздумий, одетый, как местный мастерской или путевой обходчик, в серую кепку, темно-синий габардиновый прорезиненный плащ на изнанке в мелкую черно-белую клеточку, как тогда носили, а когда была грязь, заправив брюки в сапоги, он выходил из калитки и шел налево, мимо поля, вниз, к роднику, иногда переходя на тот берег.

При его приближении вытягивались и замирали золотые клены возле афиногеновской дачи. Их в свое время привезла саженцами из-за океана и посадила вдоль аллеи Дженни Афиногенова, как говорили, урожденная сан-францискская циркачка. Позднее в них вздрагивали языки корабельного пожара, в котором погибла их хозяйка.

Чувственное поле ручья, серебряных ив, думы леса давали настрой строке. С той стороны поля к его вольной походке приглядывались три сосны с пригорка. Сквозь ветви аллеи крашенная церковка горела как печатный пряник. Она казалась подвешенной под веткой золотой елочной игрушкой. Там была летняя резиденция патриарха. Иногда почтальонша, перепутав на конверте «Патриарх» и «Пастернак», приносила на дачу поэта письма, адресованные владыке. Пастернак забавлялся этим, сияя как дитя.

...Все яблоки, все золотые шары...

...Все злей и свирепей дул ветер из степи...



Хоронили его в июне.

Помню ощущение страшной пустоты, охватившее в его даче, до отказа наполненной людьми. Только что кончил играть Рихтер.

Все плыло у меня перед глазами. Жизнь потеряла смысл. Помню все отрывочно. Говорили, что был Паустовский, но пишу лишь о том немногом, что видел тогда. В памяти тарахтит межжировский «Москвич», на котором мы приехали.

Его несли на руках, отказавшись от услуг гробовоза, несли от дома, пристанища его жизни, огибая знаменитое

поле, любимое им, несли к склону под тремя соснами, в который он сам вглядывался когда-то.

Дорога шла в гору. Был ветер. Летели облака. На фоне этого нестерпимо синего дня и белых мчавшихся облаков врезался его профиль, обтянутый бронзой, уже чужой и осунувшийся. Он чуть подрагивал от неровностей дороги.

Перед ним плелась ненужная машина. Под ним была скорбная неписательская толпа — приехавшие и местные жители, свидетели и соседи его дней, зареванные студенты, героини его стихов. В старшем его сыне Жене отчаянно проступили черты умершего. Каменел Асмус. Щелкали фотокамеры. Деревья вышли из оград, пылила горестная земная дорога, по которой он столько раз ходил на станцию.

Кто-то наступил на красный пион, валявшийся на обочине.

На дачу я не вернулся. Его там не было. Его больше нигде не было.

Был всеми ошутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, не тронутый распадом...



Помню, я ждал его на другой стороне переделкин-ского пруда у длинного дощатого мостика, по которому он должен был перейти. Обычно он проходил здесь около шести часов. По нему сверяли время.

Стояла золотая осень. Садилось солнце и из-за леса косым лучом озаряло пруд, мостик и края берега. Край пруда скрывала верхушка ольхи.

Он появился из-за поворота и приближался не шагая, а как-то паря над прудом. Только потом я понял, в чем было дело. Поэт был одет в темно-синий прорезиненный плащ. Под плащом были палевые миткалевые брюки и светлые брезентовые туфли. Такого же цвета и тона был дощатый свежеструганый мостик. Ноги поэта, шаг его сливались с цветом теса. Движение их было незаметно.

Фигура в плаще, паря, не касаясь земли, над водой приближалась к берегу. На лице блуждала детская улыбка недоумения и восторга.

Оставим его в этом золотом струящемся сиянии осени, мой милый читатель.

Пойдем песни, которые он оставил нам.

Андрей Понсагов

АРХИВНЫЕ ЗАМЕТКИ
К ПОЭМЕ «АНДРЕЙ ПОЛИСАДОВ»

В 1959 году в стихотворении «Прадед», описывая Полисадова, я наивно знал лишь наше семейное предание о нем. Что я знал тогда?

Мать моя помнила мою прабабку, дочь Полисадова. Та была смуглая, властная, темнокожая, со следами высокогорной красоты.

«Прапрапрадед твой — Андрей Полисадов,— писала мне мама,— был настоятелем одного из муромских монастырей, какого — не помню. Бабушка говорила, что его еще мальчиком привезли, как грузинского заложника, затем, кажется, он воспитывался в военной гимназии, а потом в семинарии. Когда дети Марии Андреевны приехали в Киржач, все говорили: «Грузины приехали...» Помню, как, шутливо пикируясь с отцом, мать называла его «грузинский деспот».

Приехав в Муром, опрашивая людей, разыскивая ускользающую нить, я чувствовал себя «а-ля Андроников», только речь шла не о ком-то чужом, пусть дорогом — поэте ли, историческом персона-

же,— а речь шла о тебе, о твоём прошлом, о судьбе. Было кровное ощущение истории. Мне везло. Оказалось, что собор, в котором служил Полисадов,— Благовещенский муромский собор на Посаде, ныне действующий.

В ограде я обнаружил чудом уцелевшее не примеченное никем надгробье, с оббитыми краями и обломанным завершением. На камне было имя Полисадова и дата смерти. Странен был цвет этого розоватого лабрадора с вкраплениями — «со слезой». Он всегда меняет цвет. Я приходил к нему утром, в сумерках, в ясные и ненастные дни, лунной ночью — цвет камня всегда был иным. То был аметистовым, то отдавал в гранат, то был просто серым, то хмуро-сиреневым. Это камень-настроение. Или это неуловимый цвет изменчивого времени?

Постепенно все прояснялось. Родился Андрей Полисадов в 1814 году. Списки высланных после Имеретинского восстания, подписанные Ермоловым, хранят имена репрессированных. В 1820 году был доставлен во Владимир и тут же усыновлен.

Имя, которым нарекли мальчика, не было случайным. Святой Андрей был связан и с Грузией и с Россией. Проповедник Андрей Первозванный, сжимая в руке гвоздь от распятия, достиг Западной Грузии и первый распространил там христианство.

Летопись «Картлис цховреба», грузинская жемчужина, повествует, как он «перешел гору железного креста». Далее летописец прибавляет: «Есть сказание, что крест тот воздвигнут самим блаженным Андреем» (с. 42).

О том же мы читаем в древнеславянском шедевре — «Повести временных лет»: «...въшед на горы сия, благослови я, постави крест...» По преданию, проповедник Андрей достиг Киева и Новгорода, распространяя христианство в России. Не случайно синий крест андреевского флага осенял моря империи.

Кстати, в «Повести временных лет» мы впервые встречаем письменное упоминание города Мурома и племени «мурома».

Андрей Полисадов был загадочной фигурой российской духовной жизни. Происхождение тяготело над ним. Будто какая-то тайная рука то возвышала его, то повергала в опалу. Он награждается орденами Владимира и Анны. Однако имя его таинственно изымается из печати. Даже в «Провинциальном российском некрополе», составленном великим князем Николаем Михайловичем, имя Полисадова, обозначенное в оглавлении, затем необъяснимо исчезает со страниц.

У Брокгауза и Ефрона можно прочесть, что названный брат Полисадова Иоанн, с которым они были близки, стал известным проповедником в Исаакиевском

соборе. Весь Петербург собирался на его проповеди. О нем же увлеченно пишет Ал. Бенуа в недавно изданных у нас мемуарах.

Андрей Полисадов был отменно образован. Владимирская семинария, где он воспитывался, была в 30-е годы отнюдь не бурсой, а скорее церковным лицеем. В те годы редактором владимирской газеты был Герцен. В семинарии серьезно читались курсы философии и истории. Студенты печатали стихи, в том числе и фигурные.

Сохранились стихи Полисадова. Уже будучи в Муроме, он оставил труд о местных речениях и обычаях, за который был отмечен Академией наук. Его поразило сходство славянских слов с грузинскими — «тах» аукался с грузинским «прта», «тьма» (то есть десять тысяч) отзывалось «тма», «лар» — «ларец»... Суздальская речушка Кза — серебряно бежала от грузинского слова «гза», что означает «дорога». Зевая, муромцы крестили рты так же, как это делали имеретинские крестьяне. А на второй день пасхи на могилы здесь клали красные яйца и плескали вино — все возвращало к обычаям его края.

Музыка была его отдохновением. И опять в трехголосом песнопении ностальгически слышалось ему эхо грузинских древних народных хоров. «И, может быть, — думалось ему, — полифонные «ан-

гелоподобные» хоры донесли к нам не от греков, чье пение унисонное, а от грузин, а к тем — от халдов?»

В 80-е годы Полисадов покровительствовал исканиям неутомимого Ивана Лаврова, который изобрел особый «гармонический звон в колокола», названный им с вызовом — «самозвоном», и взял фаната в свою обитель. И не без влияния Полисадова графская семья Уваровых, с которой он был близок, подалась в изучение археологии Кавказа. Неукротимый характер его сказался в решительной перестройке собора.

Несколько раз в своей рукописи Полисадов возвращается к арке, пробитой им в северной стене храма. И сейчас она поражает смелостью. Арка — в полстены, она напоминает распахнутые пропорции арки в Гелати. Эта решительная кривая выдавала в нем соотечественника будущих пространственных дерзаний Давида Какабадзе. Он пытался распахнуть, усовершенствовать свое заточение.

Да и назначение Полисадова в Муром было неслучайным. Муром в те времена был духовной целлой страны. При приближении Наполеона знаменитая Иверская икона была перевезена в Муромский собор на Посаде. В память ее пребывания «каждогодно 10-го сентября» происходил крестный ход от собора вокруг города. Иверская стала покровительницей Мурома. После возвращения Иверской в Моск-

ву в городе осталась живописная копия шедевра.

Но откуда взялась сама Иверская? Иверия — Грузия. Икона была привезена в 1652 году в Россию из Иверского монастыря, основанного братьями Багратидами Иоанном и Евсимием в конце X века. Живопись на ней грузинского письма. Вполне понятно, что грузинский заложник был послан служить грузинской святыне. Ах, эта поэзия архивных списков, темных мест и откровений... И что бы я мог без помощи моих добровольных спутников по поискам — владимирского археографа Н. В. Кондаковой и москвича Б. Н. Хлебникова?

У меня хватает юмора понимать, что по прошествии стольких поколений грузинская крупица во мне вряд ли значительна. Да и вообще не очень-то симпатичны мне любители высчитывать процентное содержание крови. Однако история эта привела меня к личности необычной, к человеку во времени. За это я судьбе благодарен.

Родня моей матери жила во Владимирской области. К ним я приезжал на каникулы. Бабушка держала корову. Когда доила, приговаривала ласковые слова. Ее сморщенные, как сушеный инжир, щеки лучились лаской. Родители ее были еще крепостными Милославских. Из хлева, соединенного с домом, было слышно, как корова вздыхала, перетирала сено, дышала. Так же дышали, казавшиеся живыми,

бревенчатые стены и остывающая печь, в которой томились кринки с коричневой корочкой топленого молока. Золу заметали гусиным крылом. Сумерки дышали памятью крестьянского уклада, смешанного со щемящим запахом провинции. Мне, продукту многоэтажного города, это было уже чужим, но непонятно тянуло.

О ставни по-кошачьи терлась сирень.

И вот в старинном доме с вековыми резными ставнями, так похожими на бабушкины, муромский краевед Александр Анатольевич Золотарев вдруг извлек из архива Добрынкина, хранителем которого он является, рукописи, исписанные рукой Андрея Полисадова. Выцветший почерк струился слегка женственными изысканными длинными завитками.

Было от чего оцепенеть!

Меня не оставляло ощущение, что в истории все закодировано и предопределено, не только в общих процессах, но и в отдельных особях, судьбах. Открывались скрытые от сознания связи. Опять было физическое ощущение себя как капилляра огромного тела, называемого историей. Есть поэтика истории. Есть созвездия совпадений.

Например, летом 1977 года, будучи в Якутии, я написал поэму «Вечное мясо», в сюжете которой маячил мамонтенок, откопанный бульдозеристами тем же летом.

Оказывается, ровно сто лет назад,

18 июня 1877 года в Муроме, исследуя церковь, построенную Бармой и Постником, или, как теперь считают, постником Бармой, будущими строителями Василия Блаженного, археолог граф А. С. Уваров раскопал останки мамонта, о чем во «Владимирских губернских ведомостях» за 26 августа 1877 года напечатал статью Добрынкин, в архиве которого я найду рукопись моего предка.

История посылала сигналы. Все взаимосвязывалось. И связи эти — не книжный начет, не сухая кабалистика, не мистицизм, имя им — жизнь человеческая. Жизнь эта и есть поэзия.

АНДРЕЙ ПОЛИСАДОВ

История

ПРОЛОГ

Взойдя на гору, основав державу,
я знал людскую славу и разор.
В чужих соборах мои кони ржали —
настало время возводить собор.

Немало в жизни видел я чудовищ.
Они пойдут на каменный узор.
Чтоб было где хранить потомкам овец,
настало время возводить собор.

Меж правого и левого базара
я оставался все-таки собой.
В Архитектуре главное, пожалуй,
не выстроить, а выстрадать собор.

Начало будет в Муроме покамест,
Казбек от его звона задрожит.
Положен во главу лиловый камень.
Под этим камнем человек лежит.

«Ваш прах лежит второй за алтарем»,—
сказал мне краевед Золотарев.

I

В лето седмь тысяшь шесть десят первом году Государь и Великий князь Иоанн Васильевич IV вся Руси приде во град Муром и молятеся в первоначальной церкви Благовещенья (деревянной), помощи прося со слезами: «Аще град Казань возьму, аз повелю здѣ устроить храм каменный Благовещенья». Государь Казань взял и того же году, в лето, прислал в Муром каменщиков.

«Житие Константина, Феодора и Михаила муромских чудотворцев» (древнерусская повесть XVI в., со списка, хранящегося в Муромском музее, к-7165, м.м-30152).

...собор основан в 1555 г. близ берега Оки. Называлось же место это Посадом. В память пребывания в соборе в 1812 г. Московской Иконы Иверской БМ установлено празднество ежегодно 10-го сентября.

*Из описания А. Полисадова
мая 31 дня 1887 г.*

Кто ты родом, Андрей Полисадов?
Почему, безымянный заложник,
малолетнее чадо,
привезен во Владимир с Кавказа?

Значит, надо. В архивах не сказано.
(Шла война. Мятежи грозили.
И Царевич бежал к безбожникам ¹.)

Его спешно усыновил,
дали имя: Андрей Полисадов.
Домом стал Собор на Посаде.
«Кто я?! Кто?!» — взвояет выросший смышленый.
Утешает собор его: «Сын мой...»

II

«Господи, услышь меня, услышь мя, господи!..

На границе Горьковской и Владимирской области
я стою без голоса, в неволю отданный,
родина, услышь меня, услышь мя, родина!
Назови по имени, пошли горных коз пасти.
Ты ж сама без голоса. Услышь ее, господи...»

И летят покойники и планеты по небу —
«кто-нибудь услышь меня, услышь мя

кто-нибудь...».

Это ж твой ребенок, ты ж не злоумышленник.
Мало быть рожденным, важно быть услышанным.
Смыслы всех мятежников, взрывы современщины:
«Женщина, услышь меня, услышь мя, женщина...»

«Это я, господи! Услышь мя, господи! —

¹ «Грузинский царевич Александр Баграт через Турцию бежал к шаху» (Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1886 — из библиотеки Полисадова).

на углу Горького и Маяковского
ты кричишь мне, нищая, в телефонной хижине.—
Господи, услышь меня, господи, услышь меня!»

И тебе история вторит фразой горскою:
«Господи, услышь меня, услышь мя, господи...»

III

Полисадов Андрей (Алексий),
год окончания 1834, по 1-му разря-
ду, 5-му номеру, 1836 — свящ. с. Ши-
морского, 1866 — Москва, 1-го клас-
са, Новоспасский монастырь, 1882—
Благовещенский Муромский мона-
стырь.

*Малицкий Н. В. «История Вла-
димирской Духовной семина-
рии» (выпуск 2-й).*

С 1882 г. Благовещенский собор
управлялся архимандритами (пер-
вым был Полисадов).

*Травчатова Н. В. «Город Муром
и его достопримечательности»
(Владимир, 1903).*

Русифицированного мцыри
в семинарии учат на цырлах.
В восемьсот тридцать пятом женился.
Его ждал Собор на Посаде.
Темной мыслью белых фасадов
стал он. Плен не переменился

оттого, что купцы прикладывались
к кольцу с тоскливым аквамарном.

Умер муромским архимандритом.
Отвлеклось родословное древо.
Его дочка, Мария Андреевна,
дочь имела, уже Вознесенскую,
мою бабу, по мужу земскую.
Тут семейная тайна зарыта.
Времена древо жизни ломали.
Шарил семинарист знаменитый —
в чьих анкетах архимандриты?
У нас в доме икон не держали,
но про деда рассказ повторяли.
И отец в больничных палатах
мне напомнил: «Андрей Полисадов».

Прибыл я в целомудренный Муром.
Город чужд экскурсантам и турам.
Шел июль. Сенокосы духмяные.
За Окою играли Тухманова.
Шли русалочки, со смешочками
огурцы уплетая сочные.
Шла с завода смена рабочая.
По тропинке меж дикой малиной
поднималась к собору мешочница
на горбу со своею могилой.

Там я встретил Золотарева.
«Жду вас. Ваша могила готова.
Ваше тело сто лет без надзора.
Тело ваше! Я б начал с собора».
Мое тело меня беспокоит.
В нем какой-то позыв незаконный.

IV

**Муром целомудренный. Над Окой хрустальной
посидите тайно.**

**Не забаламутьте вечер отошедший.
Чтите целомудренность отношений.**

**Не читайте почты, вам не адресованной,
не спугните чувства вашего резонами,**

**не стучите дворником в окна к ласкам утренним,
все двоим дозволено— если целомудренно.**

**Эта целомудренность отношения
по лесам кому-то говорит отшельничать,**

**там нельзя охотиться, там стоял Суворов,
соловьи обходятся без суфлеров.**

**Мудрость коллективная хороша методою,
но не консультируйте, как любить мне родину.**

**(И когда усердные патриоты мнимые
шлют на нас публичные доносы анонимные,**

**просто из брезгливости природной
не полемизирую с оборотнем.)**

**У любви нет опыта, нету прегрешения,
только целомудренность отношения.**

«Нет ли в ризницах церковных старинных омофоров, сакосов, фелоней, епитрахилей, палиц, стихарей, орарей, мантий и власяниц?» — «Нет. Кроме четырех княжеских шапочек. Они малинового бархата, шиты золотом и серебром».

Из рукописных ответов архимандрита А. Полисадова на вопросник Академии художеств мая 31 дня 1887 г.

**Сохранилась соборная опись.
Почерк в усиках виноградных
безымянного узника повесть
заплетал на фасад и ограды.**

**«8 старых опор. 8 поздних.
Консультировал Барма и Посник»¹.
И ложился в архив синодальный
Муром с привкусом цинандали.
«Пол чугунный и пол деревянный,
называю вас, сам безымянный!»
Византийские ризы расшили
птицы будущего Гудиашвили.
В этом перечислении скорбном,
где он пел золотую тюрьму,**

¹ «Ступенчатый трюп колокольни свидетельствует, что в Муроме работали Барма, Посник или кто-либо из членов их артели» (В о р о н и н Н. Н. Сборник работ. Л., 1929).

**я читал восхищенье собором
и неясные счеы к нему.**

**«Не имеются ли мощи изменников?
Сколько окон? Живая ль вода?»**

«Не имеется.

Жизнь — одна».

**«Матерь Иверская, икона,
эвакуированная от Наполеона,
мы судьбой с тобой схожи, товарка.
Так же будешь через столетье,
нянча сына, глядеть в лихолетье
из проема в вагоне товарном.**

**Когда край мой с моей колокольни
возвещает печаль и успехи,
из второй моей родины, горной,
через час возвращается эхо.
Кто ты родом, костыль палисандровый?»
Помолись за меня, Полисадов...
«Я молюсь за царя Александра,
что когда-то лишил меня имени.
Тяготят теперь имя и сан его.
Хочет он безымянную схиму.
Спор решает душа, не топор».
«Да, отец»,— отвечает собор.
Так толкуют в своем разладе
дух смиренный и дух злорадный:
«Погоди, Собор на Посаде!»
«Подожду, Андрей Полисадов».**

**Как сейчас они сходны судьбою!
Человек, одинокий в соборе,**

и собор, одинокий в истории,
и История — в мертвых просторах.
Завитую пожарскую чашу¹
оплетал виноград одичавший.
Завитком зацепилась усатым
подпись бледная: «Полисадов».

VI

Почему он бежать не пытался?
Не из страха ж или конвоя?
Полюбил он лес за Окою,
это поле с несмым укором,
где тропинка — прямым пробором,
как у всех его прихожанок.
Полюбил он хмурую паству,
русых узников государства.
Утешая печалей толпы
в двух церквах, холодной и теплой,
разделенных стеной допотопной,
вдруг он понял, что в них нуждался,
в них он бóльшую боль увидел,
чем свою. И для них остался.

Ежедневно он шел к ограде,
в пояс кланяясь эху фасадов:

¹ «Чаша водосвятная красной меди, под рукоятку вычеканены слова: «Лета 7147 июля 17-го сию чашу очищения приложил для Благовещения Пресвятой Богородицы, что в Муроме на Посаде, Боярин Князь Дмитрий Михайлович Пожарский» (из ответов А. Полисадова). Сейчас чаша эта экспонирована в Муромском музее. Полисадов ошибся, она из сплава олова.

«Добрый день, Собор на Посаде».
«Добрый день, Андрей Полисадов».

Обмирала со свечкой школьница —
глаза странные, золотые...
Это первое чувство молится!
Он ее ощущал затылком.
Он томился перед собором,
золотым озаренный взором.
Но когда совратитель исподволь
прошептал ему что-то площадно,
он избил его среди исповеди,
сломал посох и крикнул: «Прощаю!»
После сутки лежал на плитах.
Не шутите с архимандритом.

VII

Подари мне милостыню, нищая Россия,
далями холмистыми, ношей непосильной.

Подвези из милости, грузовик бродячий,
подари мне истину: бедные — богаче.

Хлебом или небом подарите милостыню,
ну а если нету, то пошлите мысленно.

Те, над кем глумились, нынче стали истиной.
Жизнь — подарок, милостыня. Раздавайте
милостыню!

Когда ты одета лишь в запах сеновала,
то щедрее это платьев Сен Лорана.

VIII

В 1979 г. реставрированы интерьеры, колокольня ныне действующего Благовещенского собора.

Из ведомости

Реставраторы волосатые!
Его дух вы стремитесь вызвать.
Голубая тоска Полисадова
в ваши пальцы вьелась, как пзвесть.
Эти стены — посмертная маска
с его жизни, его печали —
словно выпуклая азбука,
чтоб слепые ее читали.
Муромчанка с усмешкой лисьей
мне шепнула, на свечку дунув:
«Новый батюшка — из Тбилиси».
«Совпадение», — я подумал.
Это нашей семьи апокриф
реставрировался в реальность.
Не являюсь его биографом,
но поэтом его являюсь.
Эхо прячется за колонною,
словно девочка затаенная.
Над строительными лесами
слышу спор былых адресатов:
«Погоди, Собор на Посаде!»
«Подожду, Андрей Полисадов».

IX

Реставрируйте купол в историческом кобальте!
Реставрируйте яблоню придорожную в копоти.

Реставрируйте рыбу под мазутными плавнями.
Возвратите улыбку на губах, что заплакали.
Возродите в нас совесть и коня Апокалипсиса.
Реставрируйте новое, что живое пока еще!
Что казалось клиническим с точки зрения приказчика,
скоро станет классическим, как сегодня Пикассо.
Чистый вздох стеклодувши из глуши гусь-хрустальной
задержался в игрушке модернистки кустарной.
Чтобы лет через тыщу реставратор дотошный
понял вечную душу современной художницы.

Х

Он остался в архивах царевых,
в подсознание Золотарева.
Он живет по Урицкого, 30.
В доме певчие половицы.
Мудр хозяин, почти бесплотен,
лет ему за несколько сотен.
Губы едкие сжаты ниточкой.
Его карий взгляд над оправой,
что похожа на чайное ситечко,
собеседника пробуравит.
Взгляд был цепким и тем не менее
был каким-то щемяще семейным.
Пимен нынешний не отшельник,
я б назвал его пимен-общественник.
Он спасает усадьбу Некрасова,
окликая людей многоرازово
от истицы Истории имени.
Бескорыстно-районные пимены!
Боль, радости, вами копимые,
ваша память — народная совесть.
Я ему рассказал свою повесть.

«Полисадов?» — он спросит ехидно,
лба морщины потрет, словно книгу.
И из недр его мозга с досадой
на меня глядел Полисадов.
Профиль смуглый на белом соборе,
пламя темное в крупных белках,
и типайшее бешенство воли
ощущалось в сжатых руках.
(Вот таким на церковном фризе,
по-грузинскому царевровым,
в ряд с Петром удивленной кистью
написал его Целебровский ¹.)
Но не только в боренье с собою, —
посох сжав, побелела рука —
в каждодневном боренье с собором.
Он в нем с детства видел врага.
В нем была бы надменность и тронность,
если бы не больные глаза
и посадки грузинская стройность,
что всегда отличала отца.
«Что тебе, бездуховный отпрыск?» —
как бы спрашивал хмурый образ.
Но материализм убеждений
охранял меня от привидений.
Молодая жена Валентина
чай подаст и уложит сына.
Долог спор об усадьбе Некрасова
и о том, что история — классовая.

¹ Целебровский П. И. (1859—1921) — художник I класса, расписывал собор по заказу Полисадова (см. Кондаков Н. Словарь русских художников).

Для покорных жен, для любовных смен
паче всех человек окаянен есмь.
Говорящий племянник зверей и роц,
я единственный в мире придумал ложь.
Почему на Оке от бензина тесьмь?
Паче всех человек окаянен есмь.
Опозорен дом, окровавлен лес,
из истории стои, из Гаяны — весть,
но кто кинет камень, что чист совсем?
В одного камнями кидают семь.
Но отвергнув мечь, как пройдя болезнь,
человек за всех неприкаян есмь —
ставя храм Нерли, возводя Хорезм,
человек за всех осиянен есмь.
Почему ж из всех обезьян, скотин
осиянен есмь человек один?
Ибо «Песней песнь» — человечья песнь.
Человек за всех богоявлен есмь.

ХІІІ

Это было в марте, в вербном шевелении.
«Милый! окрести меня, совершеннолетнюю!

Я разделась в церкви — на пари последнее.
Окрести язычницу совершеннолетнюю.

Я была раскольницей, пьянью, балериной.
Узнаешь ли школьницу, что тебя любила?

Глаза — благовещенские, желтые, янтарные...
Первая из женщин я вошла в алтарную.

От толпы спасут меня сани шевролетные...
Милый! окрести меня, совершеннолетнюю!

**Я люблю твой голос, щеки в гневных пятнах,
буду годы, годы тайная жена твоя.**

**На снегу немислимом, схваченная платьем,
встану с коромыслом — молодым распятым!**

**Я пришла дать волю и раскрепощенье.
Я тебя простила, слепой священник...**

**Завтра в шали черной вернусь грех отмаливать.
Врежется в плечо мне перстень твой эмалевый.**

**«Любишь! любишь! любишь!» — прочту во взорах...»
Содрогнулось чудище пустого собора.**

XVI

В 1882 г. чугунный пол заменен на деревянный, цитовой, главы покрыты железом и крашены медянкой, пробита арка для соединения храма с теплой церковью, клиросы отделены киотами, стены заново покрыты живописью.

Из описания Полисадова

...были заподозрены в разброске прокламаций два послушника Благовещенского монастыря.

Из «Донесения Влад. Губернского Жандармского Управления»

**Он случившимся тяготился,
золотой заложник истории!
В середине шестидесятых
он от дел мирских удалился.**

Сбросил имя. Стал Полисадов
настоятелем Алексием.
Настоятель был прогрессивен.
Сгоряча собор перестроил.
Церковь теплую свел с холодной
аркой циркульной, бесколонной,
полстены проломив при народе.
Арка ахнула переходная
как глубокий вздох о свободе!
А над аркой, стену осия,
повелел написать Алексия.
И сказал, как в зеркало, глядя:
«Чья взяла, Собор на Посаде?»

Задержалось эхо с ответом.
Человек расквитался с историей.
Он стоял, свободы отведав.
Он казался себе Егорием
с пятиглавою аллегорией.
Был он воин. Он был мужчина.
Распрявилась жизни пружина.
Звал художников ¹. Знался с Уваровой ².
Своим весом спасал арестованных.
Например, когда пару монахов
(Агофангела и Евлахия)
обвинили в расклейке листовок.
Было страху!
Революция только заваривалась.

¹ Магдалина, что обмирала, вышла в Омске за генерала.

² Уварова Прасковья Сергеевна — графиня, жила под Муромом, с 1884 г. председательница Императорского Археологического общества, автор 174 работ, в том числе «Могильники Сев. Кавказа» (*Историческая энциклопедия*).

Но уже завезли в ограду
камень редкого лабрадора
цвета выцветшего граната —
камень с именем «Полисадов».
И Уварова губы кусала.
И вздохнуло эхо фасадов:
«Чья взяла, Андрей Полисадов?»
Похоронен он у Собора
на Посаде.

XV

Чья ты маска, Андрей Полисадов, —
дух мятежный семьи Багратов?
друг и враг шамхала Тарковского?
христианский варьянт мюрида?
на соборной стене осадок?
Золотой мотылек бестолковый
залетел на твой светоч адов.
Ты в миру Андрей Полисадов,
а до мира, а после мира?
Смысл бессмертный и безымянный,
что хотел ты в земных временах,
став Андреем и Алексием?
Почему из людского стада
духи Грузии и России
тебя выбрали, Полисадов?
Почему против воли пиита
то анафемою, то стоном
голос муромского архимандрита,
словно посох, рвет микрофоны?
И влечет меня, и влечет меня
что-то горнее, безотчетное,

гул низинный вершин грузинских...
Может, мне Каладдадзе кузина?

XVI

Ты прости мне, Грузия, что я твой подкидыш.
Я всю жизнь по глупости промолчал. Как примешь?

Бьется струйка горная в мою кровь равнинную.
Но о крови вспомним мы, только в грудь ранимые.

Вот зачем отец меня брал на ГЭС Ингури,
Где гора молитвенна, как игумен.

Эта кровь невольная в моих темных жилах
вместо «вы» застольного «мы» произносила.

«Наши!» — говорю я, ощущая пульсом,
как мячи пульсируют в сетку ливерпульцам.

Это наши пропасти, где мосты мизинцами,
это наши прописи рыцарства грузинского.

Может, есть отдельные гороли редиса,
но делился витязь шкурою единственной

с Александром Сергеевичем, Борисом Леонидовичем,
тер щекой сердечную мокрые ланиты.

Вновь ночные фары — может, мои кровники —
на горе рисуют полосы тигровые.

И какой-то тайною целомудренной
тянет сосны муромские к пицундовским.

XVII

Когда сердце устанет от тины
или жизнь моя станет трудней,
календарь на часах передвину
на тринадцать отвергнутых дней —
перейду из Пространства во Время,
где Ока и тропинка над ней.

И тогда безымянный заложник
выйдет в сумерках на косогор,
как слепую белую лошадь,
он ведет за собою собор.

И, обнявши за белую шею,
что-то шепчет на их языке —
то, о чем рассказать не сумею.
А потом они скрылись к реке.

ЭПИЛОГ

Мой муромский мюрид, простимся, мой колодник!
Я обещал собор. Я выстрадал собор.
Меж теплой стороной и стороной холодной
сквозит в стене дыра, пробитая тобой.

Я говорю с тобой из теплого собора.
Зачем второй раз жить? А первый раз зачем?
Лампадкой ты горюшь в мозгу Золотарева,
в мозгу моих друзей, читателей поэм.

Любая жизнь — собор. В моей — живые башни.
Одну зову я «Ты», — другую — «Родион»,
и безымянный звон над башней самой зряшной,
собор — не Пантеон.

Распуцен мой собор на волю, за грибами.
Горюют, пьют, поют. Назначен в сердце сбор.
Одна из башенок мотор разогревает,
Все это мой собор.

Меньшую башенку экзаменатор топит.
Но баллам недобор для нашенских сорбонн.
Но в сердце у нее тысячелетний опыт —
куда профессору!
Все это мой собор.

Бродите по земле, собор нового типа!
Между собой моей вы связаны судьбой.
За счастье вас любить — великое спасибо.
И это мой собор.

Пускай летят в собор напрасные камни.
Из праздных тех камней сработаем забор.
Живу я как пою — пою я как умею.
Свободен мой собор.

Однажды ошибаются саперы.
Шумит любовью жизнь. Но не лови ворон.
Горят огни лампад вселенского собора,
и без лампад огни в соборе, во втором.

СОДЕРЖАНИЕ

РАМА

| | |
|--|----|
| Монолог XX века | 6 |
| Речь | 8 |
| Первый автобус | 11 |
| Безотчетное | 14 |
| «Был бы я крестным ходом...» | 16 |
| Недописанная красавица | 17 |
| Невезуха | 19 |
| Свет друга | 21 |
| Выставка «Москва — Париж» | 23 |
| Собака | 25 |
| Трубадуры и бюргеры | 26 |
| Мулатка | 28 |
| Черная береза | 30 |
| Памяти Владимира Высоцкого | 31 |
| «Наверно, ты скоро забудешь...» | 33 |
| Устье | 34 |
| «Ты живешь до конца откровенно...» | 37 |
| Размолвка | 38 |
| Имена | 40 |
| Критику | 42 |
| «Когда я слышу...» | 43 |
| Монахиня моря | 44 |

| | |
|---------------------------------|----|
| Береза | 46 |
| «Зашторены закаты...» | 48 |
| Сосны | 50 |

СОЗДАТЕЛЬ

| | |
|--|----|
| «Я посетил художника после кончины...» | 52 |
|--|----|

МЫСЛЬ, ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛА ТВОРЕНЬЮ

| | |
|---|----|
| Посвящение | 58 |
| Сайгак | 59 |
| Афиногеновские клены | 60 |
| «Этот плоский отель...» | 63 |
| Хозяин отеля | 65 |
| Объявление о знакомстве | 68 |
| У моря | 70 |
| «Погадай, возьми меня за руку...» | 71 |
| Грузинские храмы | 72 |
| Кепочка | 74 |
| Не скажи | 75 |
| Информация | 77 |
| Дар | 78 |
| «Будто дверью ошибся...» | 79 |
| Проводница | 81 |
| Воздушные лыжи | 82 |
| «Я шел асфальтом. Серый день...» | 84 |

ТАЙНА ИСПОВЕДИ

| | |
|---|----|
| Ироническая инструкция | 86 |
| Дежурная аптекарша | 90 |
| «Был он мой товарищ по классу...» | 93 |
| «Оправдываться — не обязательно...» | 95 |
| Архитектор Павлов | 96 |

| | |
|---|-----|
| «Любовь и горе — вне советов...» | 98 |
| Телеграмма (На мотив А. Жофруа) | 99 |
| Микеланджело | 100 |
| «Когда ты забираешь наверх...» | 101 |
| Женщина перед зеркалом (На мотив В. Д. Смита) | 102 |
| Лыжник | 104 |
| Мороз | 106 |
| Детские стихи | 108 |
| Квартира | 109 |
| Новая природа | 111 |
| «Я внесу тебе клумбу зимнюю...» | 112 |
| Из якутского дневника | 113 |
| Точка зрения | 114 |
| Тюльпаны | 115 |
| У костра | 117 |
| Полюс | 118 |
| «Соскучился. Как я соскучился...» | 119 |
| «Я помню птиц...» | 120 |
| Из Расула Гамзатова | 121 |
| Тудор Аргези. Дыба-воевода | 122 |
| «От Ховрино и до Мехико...» | 124 |
| «Проходишь ты без попутчика...» | 126 |
| «Ни в паству не гожусь...» | 127 |
| Баллада спасения (На мотив Ш. Нишнианидзе) | 128 |
| «Зрители в бушлатах дымят махрой...» | 131 |
| Яблонька | 132 |
| Окно | 133 |
| В полях безоглядных | 134 |
| «На соловья не шлют доносов скворки...» | 135 |
| Шуточная песенка о спасательной станции | 136 |
| Спасатель Павел | 137 |
| Река | 139 |
| Рентгеноснимок (На мотив В. Д. Смита) | 140 |

| | |
|---|-----|
| «Я вернусь, когда в город уйдешь...» | 142 |
| Тоска | 143 |
| Берег | 144 |
| «Когда человек боится...» | 145 |
| Некролог | 146 |
| Никогда (На мотив В. Д. Смита) | 147 |
| «Вызывайте ненависть на себя почаще...» | 148 |
| «Когда всегда передо мною...» | 149 |
| Ты чудо вся — даже пустяк такой! | 150 |
| Из Мексики | 151 |
| «Как была ни сложна партитура...» | 153 |
| Экология | 154 |
| Мехико — Сити | 155 |
| Терновник | 157 |
| Идиллия | 158 |
| Детство | 159 |
| «У края поля...» | 160 |
| Баллада с гитарой | 161 |
| Прадед | 163 |
| Повесть художника | 165 |
| Баллада | 168 |
| «Две школы — женская мужская...» | 170 |

РИФМЫ ПРОЗЫ

| | |
|--------------------------------|-----|
| Мне четырнадцать лет | 172 |
|--------------------------------|-----|

АНДРЕЙ ПОЛИСАДОВ

| | |
|---|-----|
| Архивные заметки к поэме «Андрей Полисадов» | 222 |
| Андрей Полисадов. История | 230 |

*Андрей Андреевич
Вознесенский*

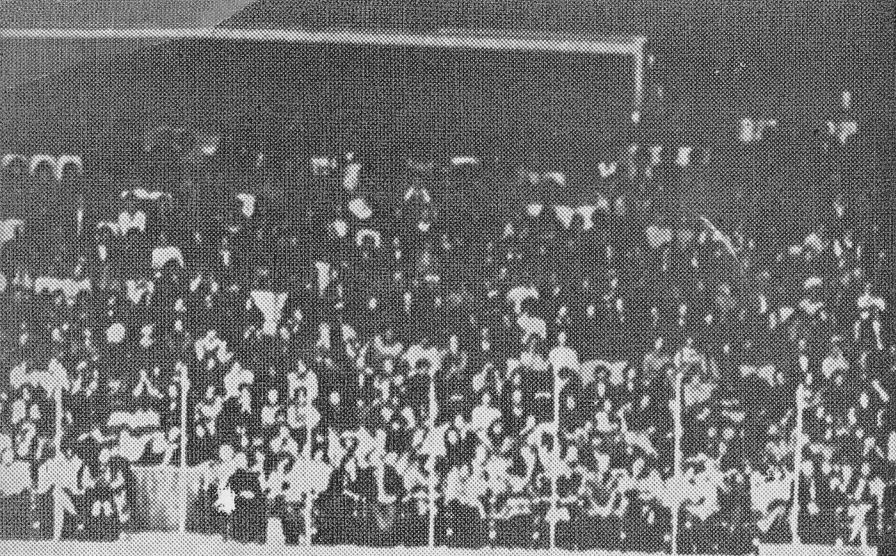
БЕЗОТЧЕТНОЕ

**М., «Советский писатель», 1981, 256 стр.,
План выпуска 1981 г. № 155**

**Редактор В. С. Фогельсон
Худож. редактор Д. С. Мухин
Техн. редактор Р. Я. Соколова
Корректор Л. Н. Морозова**

ИБ 2723

**Сдано в набор 03.07.81. Подписано к печати
13.11.81. А 10627. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип.
№ 1. Журнальная рубленая гарнитура. Высо-
кая печать. Усл. печ. л. 11,20. Уч.-изд. л. 7,32.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 488. Цена 80 коп.
Издательство «Советский писатель», 121069,
Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типо-
графия Союзполиграфпрома при Государст-
венном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли, г. Тула,
проспект Ленина, 109**





80 коп.

С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ